Роман-финалист Национальной книжной премии США

МИР глазами ГАРПА

ДЖОН ИРВИНГ

18+

Ничто в современной прозе не сравнится с «Миром глазами Гарпа». Этот баланс серьезности и игривости поистине уникален.

The New Republic

Джон Ирвинг
Мир глазами Гарпа

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130907
Ирвинг Дж. Мир глазами Гарпа : роман : Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва; 2014
ISBN 978-5-389-08228-1

Аннотация

Трагикомическая сага от знаменитого автора «Отеля „Нью-Гэмпшир“» и «Правил виноделов», «Мужчин не ее жизни» и «Последней ночи на Извилистой реке», «Сына цирка» и «Четвертой руки», панорамный бурлеск, сходный по размаху с «Бойней № 5» Курта Воннегута или «Уловкой-22» Джозефа Хеллера. Именно «Мир глазами Гарпа» сделал Ирвинга современным классиком; роман был удостоен премии Национального книжного фонда, входил в шорт-лист Национальной книжной премии США, а также, по упорным слухам, и в шорт-лист Пулицеровской премии (оглашать Пулицеровские шорт-листы начали ровно со следующего премиального года). «Мир глазами Гарпа» – это современная сага о семье, живущей в нашем беспощадном мире, члены которой пытаются, каждый по-своему и с переменным успехом, обрести гармонию. Главный герой романа – писатель, скандально знаменитый как своими книгами, так и обстоятельствами своего

появления на свет; его произведения, реалистичные и абсурдные, вплетены в ткань романа. Сам автор точнее всего определил отношение будущих читателей к книге: «Она, возможно, вызовет порой улыбку даже у самого мрачного типа, однако разобьет немало чересчур нежных сердец».

Содержание

Глава I	6
Глава II	59
Глава III	115
Глава IV	150
Глава V	191
Конец ознакомительного фрагмента.	237

Джон Ирвинг
Мир глазами Гарпа

Посвящается Колину и Брендану

John Irving
The World According to Garp
Copyright © 1976, 1977, 1978 by John Irving
All rights reserved
© И. Тогоева, перевод, 2003
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство Иностранка®

Глава I
«Бостон-Мерси»

В 1942 году в Бостоне мать Гарпа, Дженни Филдз, была арестована за нанесение в кинотеатре тяжких телесных повреждений незнакомому мужчине. Это случилось вскоре после того, как японцы напали на Пёрл-Харбор, и публика относилась к солдатам достаточно терпимо, поскольку внезапно солдатами стали практически все, однако Дженни Филдз твердо стояла на позиции абсолютно нетерпимого отношения к распущенности мужчин в целом и солдат в частности. Тогда, в кинотеатре, ей пришлось три раза пересаживаться, но этот солдат всякий раз вновь подсаживался к ней поближе, пока она не оказалась практически прижатой к заплесневелой стене, а экран, где шла сводка новостей, загораживала какая-то идиотская колоннада. Тем не менее Дженни решила больше с места не вставать. Солдат же пересел еще раз и теперь устроился с нею рядом.

Дженни было двадцать два года. Она бросила колледж, едва успев туда поступить, зато окончила курсы медсестер и была там лучшей ученицей; ей нравилась эта работа. Выглядела Дженни очень спортивно, на щеках у нее всегда играл румянец, что прекрасно сочеталось с ее темными блестящими волосами, однако ее походку мать презрительно называла

«мужской» (Дженни шагала широко и при ходьбе размахивала руками); у нее была крепкая небольшая попка и стройные сильные ноги, так что сзади ее запросто можно было принять за мальчишку. Только вот, по мнению самой Дженни, грудь у нее была великовата; ей даже казалось, что при таком «представительном» бюсте она смахивает на «легкодоступную дешевку».

А она ею отнюдь не была. По правде сказать, она и колледж-то бросила, заподозрив, что родители послали ее учиться в Уэлсли в основном потому, что им хотелось заставить ее встречаться с парнями и в конечном счете выдать замуж за «молодого человека из хорошей семьи». Рекомендация насчет Уэлсли поступила от старших братьев Дженни, которые убедили родителей, что тамошние студентки особенно высоко котируются на брачном рынке, ибо считаются девушками серьезными и весьма строгих взглядов. Дженни сочла это оскорбительным: отдав дочь в колледж, родители, казалось, вежливо попросили ее немного подождать, пока она, словно телка, не будет готова к введению устройства для осеменения.

В колледже она выбрала основной дисциплиной английскую литературу, но, увидев, что однокурсницы озабочены главным образом накоплением сексуального опыта и умением привлекать к себе мужчин, Дженни без малейших затруднений или угрызений совести приняла решение поменять филологию на медицину и получила профессию мед-

сестры. Эту профессию она, во-первых, могла немедленно применить на практике, а во-вторых, изучение медицины явно не таило в себе никаких скрытых мотивов (позднее, правда, она писала в своей знаменитой автобиографии, что слишком многие медсестры «вертят хвостом» перед врачами, но к тому времени и учеба, и работа медсестрой были уже позади).

Ей нравилась простая, без всяких изысков форма медсестры. Белый халат был достаточно просторным и скрадывал пышный бюст; туфли были удобные и как нельзя лучше подходили для ее быстрой, размашистой походки.

А во время ночных дежурств она по-прежнему могла довольно много читать. Она прекрасно обходилась без общества студентов мужского пола, которые, впрочем, сразу терялись и мрачнели, если девушка явно не желала себя компрометировать, но дай им только повод и взгляни поласковей, как они тут же задирали нос. Пациентами этой больницы были большей частью солдаты и рабочие, люди простые, откровенные и с куда меньшими претензиями; если девушка все же оказывала им внимание, рискуя быть скомпрометированной, то они, по крайней мере, испытывали благодарность и старались поддерживать с ней добрые отношения. А потом вдруг буквально все вокруг стали солдатами – и сразу задрали нос от сознания собственной важности, прямо как студенты-молокососы; и тогда Дженни Филдз вообще прекратила какие бы то ни было попытки вступить с мужчина-

ми в более близкие отношения.

«Моя мать, – писал позднее Гарп, – была волком-одиночкой (точнее, одинокой волчицей, конечно!)».

Благосостояние семейства Филдз было связано с производством обуви, хотя и мать Дженни (из богатых бостонских Уиксов) получила в качестве приданого также весьма значительную сумму. Отлично нажившись на обуви, родители Дженни Филдз вскоре переехали в собственный дом, расположенный вдали от обувной фабрики. Этот огромный дом с гонтовой крышей возвышался на побережье Нью-Гэмпшира, в бухте Догз-Хэд-Харбор. На выходные Дженни всегда приезжала домой – главным образом, чтобы угодить матери и убедить эту пожилую даму, что она, Дженни, хотя и «пустила свою жизнь козе под хвост, став медсестрой» (как выражалась ее мать), все же не приобрела еще ни плебейских замашек, ни дурного тона в речи или одежде.

Дженни часто встречалась с братьями на Северном железнодорожном вокзале, и они вместе ехали домой. По традиции, свято соблюдавшейся всеми членами семейства Филдз, они всегда садились в вагоне справа по ходу поезда, принадлежавшего компании «Бостон энд Мэн», когда ехали из Бостона, и слева – когда возвращались обратно. Таково было неуклонное требование старшего мистера Филдза, который был прекрасно осведомлен, что самый гнусный пейзаж расстилается именно по эту сторону дороги, однако полагал,

что все его наследники просто обязаны лицезреть сей мрачный источник независимости и благополучия их семейства, ибо по правую сторону от железной дороги на пути из Бостона и по левую – на обратном тянулись бесконечные унылые здания самой большой обувной фабрики Филдзов, располагавшейся в городке Хаверхилл; там, над железнодорожной веткой, ведущей прямо к фабрике, высился огромный рекламный щит с изображением гигантского рабочего башмака, обладатель которого твердой поступью шагал прямо на вас. Бесчисленные миниатюрные отражения этого башмака поблескивали в окнах фабричных зданий. А под самим башмаком красовалась надпись:

ФИЛДЗ
ОБУЕТ ВАС И В ПОЛЕ, И В ЦЕХУ![1]

На фабрике выпускали также туфли для медсестер, и мистер Филдз непременно дарил дочери пару таких туфель всякий раз, когда она приезжала домой; у Дженни уже скопилось их не меньше дюжины. Что же до миссис Филдз, попрежнему абсолютно уверенной, что ее дочь, покинув Уэлсли, сама обрекла себя на исключительно мрачное будущее, то и она всякий раз, когда Дженни приезжала домой, делала ей подарок. Практически всегда это была грелка, – по крайней мере, так утверждала миссис Филдз, ну а Дженни просто приняла это утверждение на веру: она так и не распако-

[1] Field – поле (мн. ч. fields – филдз). (*Здесь и далее прим. перев.*)

вала ни одного подарка матери, хотя та регулярно ее спрашивала: «Дорогая, ты еще пользуешься той грелкой, что я тебе подарила?» И Дженни, подумав с минуту (и не будучи уверена, что не оставила подарок в поезде или не выбросила случайно с мусором), отвечала: «По-моему, я куда-то ее задевала, мам; но я совершенно уверена, что еще одна грелка мне не нужна». Однако миссис Филдз все-таки доставала припрятанный заранее подарок, неизменно завернутый в аптечную упаковочную бумагу, и буквально силой заставляла дочь принять его. При этом миссис Филдз всегда повторяла: «Пожалуйста, Дженнифер, никуда ее не засовывай. И пожалуйста, *пользуйся* ею!»

Будучи медсестрой, Дженни прекрасно знала, сколь мало нужны подобные старомодные грелки, и считала сей предмет всего лишь трогательным древним символом чисто психологического комфорта. Но отдельным экземплярам все же удалось-таки добраться до ее маленькой комнатки неподалеку от больницы «Бостон-Мерси». Впрочем, Дженни их так и не распаковала и держала в шкафу, почти до отказа набитом коробками с новехонькими туфлями для медсестер.

Она никогда не ощущала особых родственных связей с родителями и братьями, и в детстве ей казалось странным, что семья столь щедро уделяет ей свое внимание; а потом в определенный момент этот поток любви вдруг иссяк, превратившись в ожидание. Все словно ждали от нее, что она (причем достаточно быстро) сумеет воспользоваться той впитан-

ной в себя любовью, которую дарила ей семья, а затем (может быть, в течение несколько более продолжительного периода) выполнит определенные обязательства, которые любящая семья на нее возложила. Когда Дженни разорвала эту цепь, поменяв престижный Уэлсли на самое заурядное учебное заведение и работу обычной медсестры, она сразу оказалась как бы вне семейного круга, а семья, словно ей не оставалось ничего другого, отнюдь не спешила ее в этот круг вернуть. Для семьи Филдз было бы куда лучше, если б Дженни, бросив Уэлсли, стала, например, врачом или еще студенткой вышла замуж за врача. Каждый раз, приезжая домой и встречаясь с родителями и братьями, она чувствовала, что всем им в обществе друг друга становится все более и более неуютно. Они словно проходили весьма странный и мучительно долгий процесс отчуждения.

Это, должно быть, характерно для всех семей на определенном этапе, думала Дженни. Сама она была уверена, что, если у нее когда-нибудь будут дети, она станет любить их и в двадцать лет ничуть не меньше, чем в два года; в двадцать они, пожалуй, еще больше нуждаются в материнской любви, думала она. Да и вообще, много ли нужно двухгодовалому ребенку? Для нее дети относились к числу самых легких пациентов. Чем старше становятся дети, тем больше им требуется, думала Дженни, и тем меньше их любят родители, и тем меньше они кому-то нужны…

Дженни чувствовала себя так, словно выросла на огром-

ном корабле, ни разу не побывав в машинном отделении и совершенно не зная, что там происходит. Ей нравилось, что в больнице, по сути, все ограничено тем, что человек ест, если ему вообще полезно и необходимо есть, и тем, куда потом деваются результаты того, что он ест. В детстве Дженни никогда не приходилось иметь дела даже с грязными тарелками; по правде сказать, она была уверена, что, когда прислуга убирает со стола, грязные тарелки просто выбрасывают (это было еще до того, как ей разрешили ходить на кухню). И когда по утрам разносчик ставил у их порога бутылки с молоком, Дженни считала (в течение некоторого времени, правда), что и новые тарелки тоже приносит он: звон стеклянных бутылок был очень похож на звон тарелок за закрытой дверью кухни, где что-то там делали слуги.

Дженни Филдз было пять лет, когда она впервые увидела ванную комнату отца. Она сама нашла ее по запаху отцовского одеколона. Там она обнаружила запотевшую душевую кабинку – новшество для 1925 года, – личный туалет и ряд флаконов, настолько отличавшихся от знакомых флаконов матери, что Дженни даже решила, что обнаружила логово какого-то таинственного незнакомца, годами тайно проживавшего у них в доме. По сути дела, так оно и было.

В больнице она быстро разобралась, куда что девается; кроме того, она все время открывала для себя простые человеческие истины, начисто лишенные какой бы то ни было магии, находя ответы на вопросы, откуда берется та или иная

вещь. Дома, в Догз-Хэд-Харбор, даже когда Дженни была совсем еще маленькой, у нее, как и у каждого члена семьи, была своя ванная, своя спальня, свои зеркала на обратной стороне дверей. Там уважали уединение. В больнице же уединение отнюдь не считалось чем-то священным; здесь практически не существовало никаких секретов ни от кого, а если вам нужно было зеркало, следовало просто попросить его у сестры.

В детстве для Дженни самым таинственным помещением, которое ей разрешили самостоятельно исследовать, был подвал; а также огромный глиняный кувшин, который каждый понедельник наполняли всякими съедобными моллюсками – разиньками, венерками и т. п. Мать Дженни каждый вечер посыпала плененных моллюсков кукурузной мукой и каждое утро промывала их свежей морской водой из длинной трубы, которая тянулась в подвал прямо из самого моря. К концу недели моллюски становились очень толстыми и уже не помещались в своих раковинах, где больше не оставалось песка; обычно они самым непристойным образом болтались на поверхности воды, и по пятницам Дженни помогала поварихе разбирать их; дохлые уже не втягивали шею, когда к ним прикоснешься.

Как-то раз Дженни попросила купить ей книжку про моллюсков. Она прочла о них все: чем они питаются, как размножаются, как растут. Это были первые живые существа, которых она полностью понимала: она многое узнала об их

жизни, любви и смерти. Окружавшие ее в Догз-Хэд-Харбор люди не были столь доступны. И в больнице Дженни Филдз все время чувствовала, что наверстывает упущенное; она постоянно делала для себя небольшие открытия: например, выяснила, что люди вряд ли более таинственны или более привлекательны, чем моллюски.

«Моя мать, – писал позднее Гарп, – была не из тех, кто тонко чувствует различия между людьми».

Единственное существенное отличие моллюсков от людей, по мнению Дженни Филдз, заключалось в том, что большинство людей обладают хоть каким-то чувством юмора; впрочем, у самой Дженни склонности к юмору не было. Среди медсестер больницы ходил весьма популярный в ту пору анекдот, однако Дженни Филдз он вовсе не казался забавным. Анекдот был связан с названием одной из бостонских больниц. Та больница, где работала Дженни, называлась Бостонской больницей милосердия или «Бостон-Мерси»; кроме нее, в городе имелась еще Массачусетская клиническая больница, или «Масс-Клин». А третья больница носила имя Питера Бента Бригэма, или по-простому «Питер Бент»[2].

Суть шутки заключалась в том, что однажды бостонского таксиста остановил на улице мужчина, который лишь с огромным трудом, чуть не падая, сумел сойти с тротуара и добраться до машины. От боли лицо его совершенно побаг-

[2] Питер Бент – разговорное выражение, которое можно перевести как «свернутый набок член».

ровело, он то ли задыхался, то ли сдерживал дыхание, – видимо, ему было очень тяжело говорить. Таксист вылез, открыл дверцу и помог бедолаге забраться в машину; тот улегся прямо на пол параллельно заднему сиденью и поджал колени к груди.

– В больницу! В больницу! – со стонами молил он.

– В какую? «Питер Бент»? – спросил таксист. Это была ближайшая больница.

– Какой там Питер Бент! Гораздо хуже! – простонал несчастный. – Мне кажется, Молли его откусила!

Мы уже говорили, что Дженни Филдз находила мало забавного в анекдотах, а уж в этом и подавно. Анекдоты про мужской член, как его ни назови, она вообще не воспринимала и темы этой старательно избегала. Уж она-то навидалась в больнице самых различных неприятностей, случавшихся с этими штуками! Кстати, совершенно непонятно, думала она, почему их называют «питерами». И рождение детей было еще далеко не самой худшей из связанных с этими «питерами» бед. Конечно же, ей попадались женщины, которые совсем не желали иметь детей и очень расстраивались, узнав, что беременны. Таким вовсе не следует иметь детей, думала Дженни. Но больше всего ей было жаль тех детей, которые все-таки у этих женщин рождались. Впрочем, встречались ей и другие женщины, которые, напротив, очень хотели иметь детей; из-за них-то и она сама захотела родить себе ребеночка. Когда-нибудь, думала Дженни Филдз, у меня то-

же будет ребенок, но только один-единственный. Ибо Дженни по-прежнему старалась иметь как можно меньше общего с мужчинами и этими их «питерами», во всяком случае, насколько это было допустимо в больнице.

Процедуры, которым подвергались пресловутые «питеры», Дженни видела не раз. Чаще всего они выпадали на долю солдат. В армии США только с 1943 года появился благословенный пенициллин; а бóльшая часть солдат пенициллина не видела вплоть до 1945 года. В «Бостон-Мерси» в начале 1942 года «питеры» лечили, как правило, сульфамидами и мышьяком. От триппера давали сульфатиазол, рекомендуя побольше пить, а при сифилисе, пока не появился пенициллин, применяли неоарсфенамин. Дженни Филдз казалось, что это и есть тот самый кошмар, к которому способен привести секс. Подумать только, вводить человеку в организм яд, мышьяк, чтобы очистить его от заразы!

Существовал также наружный способ лечения «питеров», который требовал огромного количества воды. Дженни часто помогала врачу при проведении этой дезинфекционной процедуры, поскольку в такие минуты пациенту требовалось повышенное внимание; иногда, сказать по правде, его попросту нужно было крепко держать. Сама-то процедура сложностью не отличалась; нужно было всего лишь прогнать через пенис по мочеиспускательному каналу примерно сотню кубиков жидкости, не давая ей при этом выливаться обратно, но пациент после такого лечения чувствовал себя так, слов-

но у него внутри не осталось живого места. Устройство для такого лечения изобрел врач по имени Валентайн, и называлось оно «ирригатор Валентайна». Впоследствии устройство доктора Валентайна было существенно усовершенствовано, а потом и заменено другим «ирригационным» устройством, но медсестры в «Бостон-Мерси» еще долго называли это лечение «процедурой Валентайна». Достойная кара для любовников, считала Дженни Филдз.

«Моя мать, – писал позднее Гарп, – была совершенно лишена романтических наклонностей».

Когда тот солдат в кино пересел вслед за нею в первый раз, то есть при первом же его поползновении «познакомиться», Дженни Филдз сердито подумала, что «процедура Валентайна» была бы для этого типа в самый раз. Но «ирригатора» она, разумеется, при себе не имела: аппарат был слишком громоздким, чтоб уместиться в сумочке. Вдобавок, чтобы его применить, потребовалось бы значительное содействие со стороны пациента. Но если и не «ирригатор», то уж скальпель-то Дженни носила с собой всегда. Она отнюдь не украла его в хирургическом отделении, нет, скальпель просто выбросили, поскольку на лезвии была довольно большая зазубрина (видимо, его нечаянно уронили на пол или в раковину) и для хирургических операций он уже не годился. Но Дженни и не стремилась использовать его в профессиональных целях.

Сперва скальпель изрезал все кармашки на шелковой подкладке ее сумочки. Потом Дженни нашла половинку старого футляра от термометра, которая прекрасно закрывала острый кончик скальпеля, как колпачок авторучку. Вот этот-то «колпачок» она и сняла, как только солдат плюхнулся с нею рядом и положил свою лапищу на подлокотник, которым они (вот уж действительно абсурд!) предположительно должны были пользоваться сообща. Его огромная кисть свободно свисала с подлокотника, болтаясь и дергаясь, как хвост лошади, отгоняющей мух. Дженни держала одну руку в сумочке, крепко сжимая скальпель, а другой рукой прижимала сумочку к своим обтянутым белым халатом коленям. Она воображала, что ее белый халат сияет точно священный щит, а этот подонок, что сидит рядом, по какой-то противоестественной причине испытывает тягу именно к белому.

«Моя мать, – писал позднее Гарп, – всю жизнь остерегалась тех, кто на бегу вырывает у женщин сумочки, а также тех, кто любит женщин лапать».

Но тот солдат в кино охотился вовсе не за ее сумочкой. Когда он решительно положил руку Дженни на колено, она громко и отчетливо произнесла: «А ну убери свою вонючую лапу!» Зрители в зале стали на них оглядываться.

«Да ладно тебе», – нетерпеливо шепнул солдат, и его рука быстро скользнула Дженни под юбку. Он обнаружил, что бедра девушки плотно сжаты, и вдруг почувствовал, что с ним самим творится что-то неладное: вся его рука от плеча

до запястья была аккуратно располосована до кости. Дженни вонзила скальпель прямо сквозь знаки различия на рукаве его рубашки и умело взрезала кожу и мышцы, обнажив локтевой сустав. («Если бы я хотела его убить, я бы вскрыла ему и вены на запястье, – объясняла она потом полицейским. – Я ведь медсестра, я знаю, как вызвать сильное кровотечение».)

Солдат заорал. Потом вскочил и, уже падая, успел здоровой рукой вмазать Дженни прямо в ухо, от этого удара в голове у нее зазвенело, она чуть не оглохла, однако сумела ответить взмахом скальпеля, лишив парня довольно-таки заметной части верхней губы. («Я вовсе не пыталась перерезать ему горло, – заявила она в полиции. – Я просто хотела отрезать ему нос, но промахнулась».)

Стеная и плача, солдатик на четвереньках выполз в проход между креслами и потащился в сторону освещенного фойе, где надеялся обрести защиту. В зале кто-то тихо поскуливал от страха.

Дженни аккуратно вытерла скальпель о сиденье кресла, закрыла лезвие колпачком от термометра и спрятала в сумочку. А потом спокойно двинулась в фойе, где слышались жалобные стоны и перепуганный директор кинотеатра тщетно взывал, обращаясь к темному залу: «Есть здесь врач? Пожалуйста, откликнитесь! Есть здесь врач?..»

Врача не оказалось, зато была профессиональная медсестра, которая и поспешила на помощь пострадавшему. Но, увидев ее, солдат впал в беспамятство, и вовсе не от потери

крови. Дженни отлично знала, как сильно кровоточат даже самые пустяковые раны на лице и как легко они вводят людей в заблуждение. А вот глубокая рана на руке солдата, конечно же, требовала немедленного вмешательства, но в целом раненый отнюдь не истекал кровью. Хотя никто, кроме Дженни, видимо, этого не понимал – вокруг было слишком много крови, и особенно ужасно выглядели огромные кровавые пятна на ее белом медицинском халате. Все быстро догадались, что раны солдату нанесла именно она. А потому служители кинотеатра не дали ей даже прикоснуться к потерявшему сознание парню, а еще кто-то из «добровольцев» отнял у нее сумочку. Ого! Да она сумасшедшая, эта медсестра! Смотрите, как она его порезала! Но Дженни хранила полное спокойствие. Она была уверена, что представители власти сумеют правильно оценить ситуацию. Однако прибывшие полицейские отнеслись к ней отнюдь не так благосклонно, как она ожидала.

– Вы давно с этим парнем встречаетесь? – спросил ее один полицейский по дороге в участок.

А другой, чуть позже, удивился:

– И с чего это вы решили, что он на вас напасть собирается? Он, между прочим, утверждает, что всего лишь хотел с вами познакомиться.

– А ведь это на самом деле очень опасное оружие, милочка вы моя, – заметил третий. – Скальпель не стоит повсюду носить с собой. Так ведь и до беды недалеко.

Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, Дженни пришлось дожидаться в полиции приезда братьев. Они оба учились на юридическом в Кембридже, за рекой. Один был еще студентом, а второй уже окончил и теперь преподавал на своем факультете.

«И оба они, – писал позднее Гарп, – считали, что практическое применение юриспруденции вульгарно и неинтересно, а вот ее углубленное изучение – занятие весьма утонченное».

Когда братья наконец прибыли в полицейский участок, то утешения от них Дженни не дождалась.

– Ты ж матери сердце разобьешь, – заявил один.

– Оставалась бы ты лучше в Уэлсли! – заявил другой.

– Одинокая девушка должна уметь себя защитить, – возразила Дженни. – Что тут неестественного?

Тогда один из братьев спросил, сумеет ли она доказать, что ранее никаких интимных отношений с этим мужчиной не имела.

– Строго между нами, – прошептал другой, – скажи честно: ты давно с ним встречаешься?

В конце концов все прояснилось само собой: полиция установила, что этот солдат из Нью-Йорка и там у него жена и ребенок. А в Бостоне он просто был в увольнении и больше всего опасался, как бы об этой истории не узнала его жена. И все как будто сошлись во мнении, что именно это и было бы самым ужасным, так что Дженни отпустили, не предъявив

никаких обвинений. А когда она подняла шум и потребовала немедленно вернуть ей скальпель, один из братьев воскликнул:

– Господи помилуй, Дженнифер, ты что, не можешь еще один стащить?

– Я этот скальпель не крала, – твердо заявила Дженни.

– Слушай, тебе просто необходимо завести друзей, – посоветовал старший брат.

– И лучше в Уэлсли! – добавили оба хором.

– Спасибо, что сразу приехали, как только я вам позвонила, – сказала Дженни.

– Так мы же одна семья, – ответил один из братьев.

– Узы крови, – подтвердил другой и побледнел, потрясенный неожиданной ассоциацией: медицинский халат Дженни был весь перепачкан кровью.

– Учтите, я девушка честная, – мрачно заявила им Дженни.

– Ты тоже учти, Дженнифер, – ответил ей старший брат, который в детстве служил ей вечным примером для подражания как в плане занятий, так и всего, что в их тогдашней жизни считалось «правильным», – с женатыми мужчинами лучше не связываться. – Тон у него при этом был самый что ни на есть серьезный и торжественный.

– Ты не бойся, маме мы ничего не скажем, – пообещал младший брат.

– А отцу и подавно! – подхватил старший.

И вдруг подмигнул Дженни в весьма неуклюжей попытке хоть как-то выказать теплое отношение к сестре; при этом лицо брата так искривилось, что Дженни решила: первый в ее жизни и наилучший пример для подражания страдает нервным тиком.

Братья стояли рядом с огромным почтовым ящиком, на который был наклеен плакат с изображением Дяди Сэма и микроскопического солдатика в коричневой форме, который карабкался вниз, цепляясь за огромные руки Дяди Сэма и намереваясь спуститься прямо на карту Европы. Под картинкой красовалась подпись: «ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ПАРНЕЙ!» Старший брат внимательно наблюдал, как Дженни рассматривает этот плакат, а потом сказал:

– И вообще не связывайся с солдатами!

А ведь всего через несколько месяцев ему тоже предстояло стать солдатом. Причем одним из тех, кто не вернулся с войны. И своей гибелью он сделал именно то, о чем с таким отвращением предупреждал Дженни: разбил сердце своей матери.

Второй брат Дженни погиб значительно позднее, через много лет после войны, в результате несчастного случая на воде. Он утонул в море в нескольких милях от того берега, где высилось семейное гнездо Филдзов в Догз-Хэд-Харбор. И мать Дженни сказала тогда о его горюющей вдове: «Она еще достаточно молода и привлекательна, да и дети довольно малы и пока что не слишком несносны. Пройдет положенное

время, она снимет траур, а потом, я уверена, найдет себе кого-нибудь другого». Но только с Дженни вдова ее брата решилась в конце концов заговорить на эту тему; тогда она уже почти год была без мужа. И вот что она спросила: прошло ли уже «положенное время», когда, по мнению Дженни, можно снять траур и начать поиски «кого-нибудь другого»? Больше всего она боялась обидеть мать Дженни.

– Если траур тебе уже надоел, зачем же ты тогда его носишь? – спросила ее Дженни.

Впоследствии Дженни писала в своей автобиографии: «Эта несчастная женщина ждала указаний насчет того, что именно она должна чувствовать».

А Гарп писал об этой истории вот что: «По мнению моей матери, это была самая глупая из всех женщин, с которыми ей когда-либо доводилось встречаться. И училась она в Уэлсли».

Сама же Дженни Филдз, распрощавшись с братьями возле дома, где снимала жилье (неподалеку от «Бостон-Мерси»), даже сердиться толком не могла, настолько она была ошеломлена случившимся. Вдобавок ей было больно: болело ухо, по которому ее ударил солдат, и отчего-то сводило судорогой мышцы спины между лопатками, – она все вертелась и не могла уснуть, а потом решила, что в спине, видно, порвались какие-то связки, когда служители кинотеатра схватили ее в фойе и заломили руки назад. Тут она вспомнила, что в таких случаях вроде бы помогает горячая грелка,

встала с постели, подошла к шкафу и достала один из подарочных свертков, некогда полученных от матери.

Это была вовсе не грелка. Слово «грелка» оказалось просто эвфемизмом, к которому мать прибегла, чтобы не употреблять другое название, для нее совершенно непроизносимое. В свертке оказался прибор для спринцевания, очень похожий на кружку Эсмарха. Мать Дженни хорошо знала, для чего нужна эта вещь. Дженни тоже. Она не раз помогала пациенткам в больнице пользоваться такими спринцовками, хотя там ими пользовались не для предотвращения нежелательной беременности, а при самых обычных женских гигиенических процедурах и еще при лечении венерических заболеваний. Дженни эта штуковина представлялась более удобной и облагороженной версией «ирригатора Валентайна».

Дженни развернула все свертки с подарками. В каждом была такая же спринцовка. «И пожалуйста, пользуйся ею!» – всякий раз твердила ей мать. Дженни знала, что мать, желая ей добра, тем не менее уверена, что дочь ведет совершенно безответственную распутную жизнь. Несомненно, мать полагала, что «именно поэтому она и бросила Уэлсли», после чего «погрязла в блуде» и вообще «пустилась во все тяжкие».

Дженни забралась обратно в постель, налив в эту дурацкую кружку Эсмарха горячей воды и пристроив ее между лопатками; она очень надеялась, что зажимы на трубке аппарата достаточно надежные и протечек не будет, но все же не

выпускала трубку из рук – сжимала, точно четки во время молитвы, – а наконечник со множеством отверстий на всякий случай опустила в стакан. Так она и провела ночь, слушая, как вода потихоньку капает из наконечника в стакан.

В этом мире, полном грязных мыслей, думала Дженни, нужно непременно быть либо чьей-то женой, либо чьей-то наложницей, шлюхой; во всяком случае, нужно изо всех сил стремиться побыстрее стать или той, или другой. Если же ты случайно не подпадаешь ни под одну из этих категорий, всяк тут же решит, да и тебе попытается внушить, что с тобой что-то не в порядке. Нет уж, со мной-то все в порядке! – думала Дженни.

Эти размышления наверняка и легли в основу книги, которая через много лет сделает Дженни Филдз знаменитой. Правда, Гарп считал (как бы грубо это ни звучало), что автобиография его матери – хотя многие отмечали выдающиеся литературные достоинства и чрезвычайную популярность книги у читателей – имеет «ровно столько же литературных достоинств, что и каталог товаров любой торговой фирмы».

Так что же все-таки сделало Дженни Филдз вульгарной? Вовсе не ее родные братья, и не тот солдат в кино, запятнавший своей кровью ее белый халат, и не бесчисленные спринцовки, подаренные матерью, хотя отчасти именно из-за них Дженни в конце концов изгнали из ее жалкого жилища. Дело в том, что ее домохозяйка (жуткая баба, которая – в силу

одной ей известных причин – подозревала, что любая женщина в любое время готова похоти ради броситься на первого же попавшегося мужчину) однажды обнаружила у Дженни в комнате и в туалете не менее девяти огромных спринцовок. Яркий пример так называемого комплекса вины по ассоциации: по мнению этой явно психически неуравновешенной особы, такое обилие спринцовок, безусловно, говорило о страхе «что-то подцепить», причем страхе несравненно большем, нежели тот, каким страдала сама домохозяйка. Или еще хуже: все эти спринцовки свидетельствовали о внушающей ужас необходимости постоянно прибегать к ним!

На какие мысли навело хозяйку наличие двенадцати одинаковых пар туфель, страшно даже вымолвить. Дженни, считая родительские подарки полным абсурдом, вдобавок обнаружила, что и у нее самой возникают весьма двусмысленные соображения по этому поводу. Поэтому спорить с хозяйкой не стала и попросту переехала.

Но это отнюдь не сделало ее вульгарной. Поскольку и братья, и родители, и домохозяйка считали, что она ведет распутную жизнь – хотя на самом деле Дженни использовала для подражания лишь весьма достойные образцы, – она решила, что все ее уверения в своей невинности абсолютно бессмысленны и звучат как оправдания. И без колебаний сняла маленькую отдельную квартирку, что вызвало новый приток спринцовок (со стороны матери) и туфель (со стороны отца). И тут Дженни поняла: они думают, что раз уж она

стала шлюхой, то пусть хотя бы живет в чистоте и ходит в приличной обуви.

Война в известной мере удерживала Дженни как от размышлений о том, сколь мало ее понимают в собственной семье, так и от горьких чувств и от жалости к самой себе. Дженни вообще не была склонна к «размышлениям». Она была хорошей медсестрой, и работа отнимала у нее все больше и больше времени. Многие медсестры вступили в армию, но у Дженни не возникло желания ни сменить форму, ни отправиться в другие страны; она всегда предпочитала одиночество и не очень-то любила знакомиться с новыми людьми. Кроме того, ее раздражала любая система субординации, даже та, что была в «Бостон-Мерси», ну а в армейском полевом госпитале, как она полагала, будет только хуже.

Прежде всего ей будет не хватать новорожденных. Вот главная причина, по которой она оставалась в больнице, тогда как многие сестры отправлялись в действующую армию. Дженни казалось, что в качестве медсестры она способна принести максимум пользы – особенно для «мамочек» и новорожденных малышей, тем более что появилось множество детишек, чьи отцы находились неизвестно где, погибли или пропали без вести; и матерям таких малышей Дженни старалась помочь в первую очередь. Сказать по правде, она им даже завидовала. Такое положение вещей представлялось ей идеальным: мать один на один с новорожденным ребенком, а муж ее взорвался где-то в небе над Францией. Молодая

женщина и ее малыш – и у них вся жизнь впереди, и в мире их только двое! Собственный ребенок без каких-либо обязательств и условий! – мечтала Дженни Филдз. Почти непорочное рождение. По крайней мере, в будущем уже не возникнет необходимости иметь дело с чьим-то «питером».

Однако эти женщины далеко не всегда были так счастливы и так довольны своей судьбой, как, по мнению Дженни, была бы счастлива она сама на их месте. Многие из них сильно горевали; многие были брошены мужем или любовником; некоторые даже ненавидели своих новорожденных детей, а некоторые, родив очередного ребенка, просто хотели таким образом заполучить мужа для себя и отца для остальных своих детей. Но Дженни Филдз всегда их всех поддерживала и одобряла – она, всегда стремившаяся к одиночеству, пыталась доказать этим женщинам, что на самом деле им повезло.

– Разве вы не считаете себя честной женщиной? – спрашивала она, и женщины большей частью отвечали, что так оно и есть.

– А какой милый у вас ребенок, верно? – Большинство полностью разделяло это мнение.

– Ну а что, собственно, представлял из себя его отец?

Ответы были примерно таковы: бездельник чертов, свинья, подонок, лжец, потаскун паршивый, да и мужик никудышный!

– Ах, теперь это не важно, ведь он же погиб! – рыдая, твердили очень и очень немногие.

– Но, может быть, так для вас даже лучше? – осторожно спрашивала Дженни.

Некоторые, конечно, в итоге с ней соглашались, однако репутация Дженни в больнице из-за ее «крестового похода» против мужчин весьма пострадала. Больничные власти в целом относились к матерям-одиночкам отнюдь не столь одобрительно.

– Дженни у нас прямо как старая Дева Мария, – насмешливо говорила о ней одна из сестер. – Не желает она, видите ли, заводить ребенка самым простым способом. Что ж, пусть молит Господа, может, Он ей младенца ниспошлет…

В своей автобиографии Дженни потом писала: «Я хотела работать, и работа мне нравилась. А еще я хотела жить одна. Что и превратило меня в „сексуально подозреваемую“. Тем более что я хотела иметь ребенка, но ни с кем не желала ради этого делить ни свое тело, ни свою жизнь. Это, естественно, лишь добавляло сомнений в моей половой ориентации; я ведь и так уже была „сексуально подозреваемой“».

Вот эти-то подозрения более всего и делали Дженни «вульгарной». (Именно отсюда и возникло название ее знаменитой автобиографической книги: «Сексуально подозреваемая».)

Дженни Филдз вскоре обнаружила, что шокирующими высказываниями и поступками можно добиться гораздо большего уважения к себе, нежели стремлением жить одиноко и независимо, никого в свою личную жизнь не допус-

кая. И Дженни прилюдно заявила, что в один прекрасный день найдет-таки себе мужчину, которого использует только для того, чтобы забеременеть, – и ни для чего больше! Она даже не рассматривала вероятность того, что с одной попытки можно и не забеременеть. Нет, Дженни была абсолютно уверена, что сделает все с первого же раза! Так она и сказала медсестрам. Ну а те, естественно, не замедлили сообщить об этом всем, кого знали. И очень скоро Дженни получила несколько вполне конкретных предложений. Внезапно ей пришлось принимать решение: она, конечно, могла и отступить, пристыженная тем, что ее тайна вылезла наружу, но могла и принять вызов.

Один юный студент-медик заявил Дженни, что готов стать добровольцем, если ему будет предоставлено по крайней мере шесть попыток в течение трех дней. Дженни ответила, что такому человеку она вообще никогда не доверится: она хотела иметь ребенка, но не на подобных условиях.

Больничный анестезиолог сказал ей, что готов даже оплатить обучение будущего ребенка, включая колледж, однако Дженни не устраивала его внешность: слишком близко посаженные глаза и скверные зубы; она не желала, чтобы ее будущее дитя было столь же уродливым.

А приятель одной из медсестер весьма жестоко подшутил над нею: в больничном кафетерии он поднес ей стакан, почти до краев наполненный какой-то мутной, беловатой и вязкой жидкостью.

– Сперма! – гордо заявил он, указывая на стакан. – И все это – за один выстрел. Я дурака валять не привык. Так что, если предоставляется только одна попытка, тебе нужен именно я.

Дженни взяла стакан и стала спокойно его рассматривать. Бог его знает, что именно было в этом стакане, но нахальный молодой человек продолжал:

– У меня прямо-таки выдающиеся способности по этой части. Там же сплошные «семечки»! – И он горделиво улыбнулся.

Дженни молча опрокинула стакан в ближайший цветочный горшок, потом сказала:

– Мне нужен ребенок, а не завод по разведению спермы.

Дженни знала, что ей придется трудно. Но она научилась терпеть насмешки и теперь платила за них той же монетой.

В итоге все решили, что Дженни Филдз чересчур груба и вообще слишком много себе позволяет. Что уж, людям и пошутить нельзя? Но Дженни, похоже, воспринимала все абсолютно серьезно. Тут возможны два объяснения: либо она, буквально стиснув зубы, цеплялась за свои убеждения из простого упрямства, либо действительно так считала. Во всяком случае, сотрудники больницы ни рассмешить ее не умели, ни затащить в постель. Впоследствии Гарп так писал об этом: «Ее коллеги наконец поняли, что она считает себя выше их. А кому может такое понравиться?»

И тогда коллеги решили воздействовать на Дженни, так

сказать, с позиции силы. Причем это было общее решение всего персонала больницы. Так, «для ее же собственного блага», как они говорили, они отстранили Дженни от работы с матерями и новорожденными. У нее и без того сплошные дети на уме; хватит с нее акушерства, да и к «детским» ее подпускать больше не стоит – слишком у нее мягкое сердце. Или мозги.

Дженни – очень хорошая медсестра, говорили они, вот пусть и поработает в интенсивной терапии. По собственному опыту они знали, что, работая в отделении интенсивной терапии, любая медсестра быстро утрачивает всякий интерес к своим личным проблемам. Дженни, конечно, понимала, почему ее отстранили от работы с новорожденными и с матерями; неприятно поражало ее только одно: почему все так низко оценивают ее способность к самоконтролю? Неужели только потому, что ее цель кажется им странной, они решили, что у нее масса всяческих недостатков – в том числе и нехватка самообладания? Не умеют люди мыслить логически, вздыхала про себя Дженни. Она прекрасно знала, что времени на то, чтобы забеременеть, у нее сколько угодно. И вовсе не торопилась с осуществлением задуманного, ибо план действий у нее был давно выношен и сформулирован.

Ведь по-прежнему шла война. Работая теперь в интенсивной терапии, Дженни сталкивалась с войной гораздо чаще. Армейские госпитали постоянно присылали к ним в больницу своих пациентов, причем это всегда были так называе-

мые терминальные случаи. Кроме того, к ним, как обычно, поступали старики со всеми их немочами, а также жертвы производственных аварий и дорожно-транспортных происшествий; немало было и детей с поистине ужасными травмами. Но в основном в отделении все же лежали солдаты, и случившееся с ними никак нельзя было назвать «происшествием» или «аварией».

Дженни по-своему делила раненых солдат на несколько категорий.

1. Солдаты с ожогами (иногда просто ужасными). Чаще всего они получали эти ожоги на борту корабля (самые тяжелые поступали из военно-морского госпиталя в Челси) или в самолете, но некоторые обгорали и на земле. Таких Дженни называла «внешники».

2. Солдаты с огнестрельными ранениями и прочими травмами в самых «неудачных» местах. Обычно состояние у них было очень тяжелым из-за повреждений внутренних органов. Дженни так и называла их: «жизненно важные органы».

3. Солдаты, ранения которых представлялись Дженни почти мистическими. Это были те, кто «здесь» уже почти и не присутствовал, – у большинства были страшные ранения головы или позвоночника. Многие в параличе, многие просто ничего не воспринимали. Дженни называла их «отсутствующими». Случалось, кто-то из «отсутствующих» проходил также и по категории «внешники» или «жизненно важные органы». Для таких в больнице имелось особое название.

4. Таких все называли «конченые».

«Мой отец, – писал Гарп, – был из „конченых“. С точки зрения моей матери, именно это делало его весьма привлекательным – ни каких-либо обязательств, ни каких-либо условий».

Отец Гарпа был воздушным стрелком и попал в переделку в небе над Францией.

«Воздушный стрелок, – писал Гарп, – это член экипажа бомбардировщика, наиболее уязвимый для зенитного огня с земли. Для воздушного стрелка этот огонь похож на стремительно выплескивающиеся вверх чернила, которые расплываются по всему небу, точно по листу промокашки. В таких случаях маленький человечек (ведь для того, чтобы стрелок умещался в поворотной башенке бомбардировщика, специально подбирают малорослых), скрюченный в своем гнезде за пулеметами, напоминает насекомое в коконе, ибо поворотная башенка – металлическая сфера с застекленным окошком – более всего похожа на кокон или на безобразно вспухший пупок на брюхе бомбардировщика B-17. В этом микроскопическом пространстве размещался спаренный пулемет калибра 0,5 дюйма и маленький стрелок, который должен был поймать в прицел атакующий истребитель. Когда башенка поворачивалась, стрелок вращался вместе с нею. Перед ним были деревянные рукоятки с гашетками, чтобы вести огонь; постоянно сжимая эти рукоятки, воздушный стрелок выглядел как некий ужасный зародыш,

подвешенный в амниотическом пузыре к брюху бомбардировщика, самым идиотским образом выставленный на всеобщее обозрение и предназначенный для защиты собственной матери. С помощью рукояток стрелок мог поворачивать башенку, правда лишь до определенной точки, чтобы ненароком не отстрелить пропеллеры собственного самолета.

Когда небо оказывалось, по сути дела, под ним, стрелок, должно быть, чувствовал себя особенно неуютно: он был прицеплен к самолету как некое запоздалое соображение. При приземлении поворотная башенка обычно убиралась внутрь фюзеляжа – но отнюдь не всегда, и в таких случаях она начинала высекать из асфальта или бетона такие же мощные и жуткие искры, какие высекает потерявший колесо автомобиль, мчащийся на большой скорости».

Техник-сержант Гарп, покойный воздушный стрелок, без преувеличения более чем близко знакомый со смертью в бою, служил в Восьмой воздушной армии, базировавшейся в Англии и оттуда летавшей бомбить континентальную Европу. Сержант Гарп уже имел некоторый опыт полетов в качестве головного стрелка на B-17C и бортового стрелка на B-17E, прежде чем его назначили воздушным стрелком.

Ему совсем не нравилось летать верхним стрелком в бомбардировщике B-17E. В этой модели самолета два места для верхних стрелков; их «гнезда» втиснуты между шпангоутами фюзеляжа в верхней его части друг против друга, и сержант Гарп неизменно получал по уху, если его напарник по-

ворачивал свой пулемет именно в тот момент, когда Гарп начинал поворачивать свой. В последующих конструкциях этого бомбардировщика, чтобы стрелки не мешали друг другу, их «гнезда» стали располагать ступенчато. Но сержанта Гарпа это нововведение уже не застало.

Его первой боевой операцией был дневной налет бомбардировщиков B-17E на Руан (17 августа 1942 года), который обошелся без потерь. Сержант Гарп, находясь в своем гнезде верхнего стрелка, получил от напарника один раз по левому уху и два раза по правому. И все из-за того, что напарник Гарпа был гораздо крупнее и его локти находились как раз на уровне ушей Гарпа.

А в поворотной башенке в день налета на Руан был стрелок по фамилии Фаулер, ростом даже меньше Гарпа. Этот Фаулер до войны был жокеем. Стрелял он лучше, чем Гарп, но Гарпу очень хотелось занять его место. Он был сиротой, однако ж любил одиночество и ненавидел тесноту, и ему совершенно не нравилось толкаться локтями со своим напарником или получать от него по уху. Конечно, как и многие воздушные стрелки, Гарп мечтал, что после, скажем, пятидесятого боевого вылета его переведут во Вторую воздушную армию – учебно-тренировочное соединение ВВС, где он спокойно сможет выйти в отставку в должности стрелка-инструктора. И пока Фаулер не погиб, Гарп продолжал завидовать ему – из-за его места в башенке совершенно отдельно от других.

– Между прочим, это самое вонючее место, особенно если много пердеть от страха, – утверждал Фаулер.

Бывший жокей всегда был циничен. Он часто покашливал сухим, как бы насмешливым и оттого всех раздражающим кашлем. А среди медсестер полевого госпиталя Фаулер пользовался наигнуснейшей репутацией.

Он погиб при аварийной посадке на проселочную дорогу. Стойки шасси сорвало, когда самолет угодил в особенно глубокую выбоину, бомбардировщик грохнулся на брюхо и пополз, сплющивая поворотную башенку, как упавшее дерево сплющивает лежащую на земле виноградину. Фаулер всегда утверждал, что гораздо больше верит в машины, нежели в людей или лошадей; он скрючился в своей неубранной башенке, когда самолет навалился на него всей тяжестью, и бортовые стрелки, включая сержанта Гарпа, видели, как сплющенную, искореженную башенку выбросило из-под брюха бомбардировщика. Адъютанта командира эскадрильи, который оказался ближе всех к месту аварийной посадки, вырвало прямо в джипе. А командир эскадрильи не стал ждать, пока смерть Фаулера зафиксируют официально, и тут же назначил замену: следующего по тщедушности стрелка. Сержанта Гарпа, которому всегда так хотелось стать башенным стрелком. И вот в сентябре 1942 года он им стал.

«Моя мать всегда питала пристрастие к мельчайшим подробностям», – напишет много лет спустя Т. С. Гарп. Так,

например, когда в больницу привозили нового раненого, Дженни Филдз первой начинала расспрашивать врача, что и как произошло. И тут же про себя относила вновь поступившего к одной из своих классификационных категорий: «внешник», «жизненно важные органы», «отсутствующий» или «конченый». И еще она придумывала всякие шутливые рифмы, которые помогали ей поскорее запомнить фамилии раненых и тип их ранения. Например: рядовой Кросс потерял в бою нос; мичману Бруку оторвало руку; капрал Гленн утратил свой член; капитан Смог лишился ног; майор Плаза остался без глаза и т. п.

Сержант Гарп оказался сущей загадкой. Над Францией во время своего тридцать пятого вылета маленький стрелок вдруг перестал стрелять. Пилот отметил отсутствие пулеметного огня из подфюзеляжной капсулы и решил, что в Гарпа попали. Если это и произошло, то пилот не почувствовал никакого удара в брюхо самолета. И продолжал надеяться, что с Гарпом тоже ничего особенного не произошло. После благополучного приземления пилот поспешил сам перенести Гарпа в коляску мотоцикла, на котором подъехал санитар, потому что все машины «скорой помощи» были в разгоне. Как только его поместили в коляску, маленький сержант вдруг занялся онанизмом. В мотоциклетной коляске имелся брезентовый фартук, чтобы закрывать пассажира от ветра и дождя. Пилот заботливо натянул фартук, прикрывая Гарпа, но сквозь прозрачное окошечко в фартуке санитар, пилот и

собравшиеся вокруг летчики могли наблюдать за действиями сержанта Гарпа. При таком маленьком росте у него был на удивление большой пенис, но обращался он с ним совершенно неумело, как ребенок. Даже до какой-нибудь обезьяны из зоопарка ему было далеко! Впрочем, Гарп выглядывал из своего убежища действительно как обезьянка и с изумлением смотрел на собравшихся вокруг людей.

– Гарп, в чем дело? – спросил пилот.

Лоб Гарпа был весь в капельках уже подсохшей крови, а из-под летного шлема, словно приклеенного к темечку, капала кровь, но на теле не было видно никаких повреждений.

– Гарп! – заорал пилот.

В металлической сфере, там, где раньше торчал спаренный пулемет калибра 0,5 дюйма, зияла дыра; похоже, зенитный огонь зацепил стволы пулеметов, расколов кожух и даже выбив рукоятки, но руки Гарпа почему-то остались целы – вот только мастурбировал он как-то очень неуклюже.

– Гарп! – заорал пилот.

– Гарп? – переспросил Гарп, словно передразнивая его, – прямо как говорящий попугай или ворона. – Гарп, – утвердительно повторил он, словно только что выучил это слово; пилот ободряюще закивал в надежде, что Гарп вспомнил собственную фамилию. Гарп улыбнулся и радостно воскликнул: – Гарп! – Казалось, он решил, что именно этим словом люди приветствуют друг друга.

– Господи помилуй, Гарп! – пробормотал пилот.

В амбразуре поворотной башенки тоже виднелось несколько дырок, стекло треснуло. Санитар приоткрыл молнию на фартуке мотоциклетной коляски и внимательно посмотрел Гарпу в глаза. С глазами у Гарпа творилось что-то невообразимое: они вращались в орбитах совершенно независимо друг от друга. Санитар решил, что Гарп сейчас видит мир вокруг то резко наплывающим на него, то вдруг проносящимся мимо – если Гарп вообще способен видеть. Однако ни пилот, ни санитар не могли тогда знать, что мелкие и острые осколки зенитного снаряда повредили Гарпу глазомоторные нервы и вообще существенно повредили мозг. Собственно, осколки многое порубили и порезали в мозгу Гарпа; это здорово напоминало фронтальную лоботомию, хотя хирург действовал слишком уж небрежно.

Санитар, кое о чем догадываясь, страшно перепугался подобной «лоботомии» и решил пока не снимать с раненого пропитанный кровью летный шлем, который прилип к голове Гарпа, чуть съехав ему на лоб и краем своим почти касаясь огромной тугой и блестящей шишки, которая, казалось, росла прямо на глазах. Все стали озираться в поисках мотоциклиста-водителя, но тот куда-то исчез – видимо, чтобы проблеваться. Санитар понял, что вести мотоцикл придется ему самому, и попросил, чтобы кто-нибудь сел в коляску вместе с Гарпом.

– Гарп? – спросил Гарп у санитара, осваивая новое слово.

– Гарп, – подтвердил санитар.

Гарп, казалось, был полностью удовлетворен. Обеими руками он по-прежнему сжимал свой член, продолжая успешно мастурбировать, пока не кончил.

– Гарп! – рявкнул он, отмечая это событие. В голосе его звучали радость и некоторое удивление. Он повращал глазами, словно умоляя мир в последний раз наплыть на него и наконец остановиться. Он явно ничего не понимал. – Гарп? – спросил он с сомнением.

Пилот похлопал его по руке и кивнул остальным членам экипажа и наземной команды, словно говоря: «Давайте поможем сержанту, парни. Пусть чувствует себя как дома». И парни, потрясенные столь мощной эякуляцией у крошечного стрелка, дружно заорали: «Гарп! Гарп!» – стараясь подбодрить Гарпа и помочь ему почувствовать себя легко и непринужденно.

Гарп кивнул, счастливый и довольный, но санитар схватил его за руку и прошептал на ухо:

– Нет-нет! Только головой не мотай, ладно? А, Гарп? Пожалуйста, головой не мотай!

Глаза Гарпа снова стали вращаться, обходя и пилота, и санитара, а те все ждали, что он остановит на них свой взгляд, но так и не дождались.

– Ты не напрягайся, Гарп, – прошептал пилот. – Сиди себе тихонько, хорошо?

Лицо Гарпа излучало полное умиротворение. Продолжая сжимать руками свой увядающий член, маленький сержант

выглядел так, словно сделал именно то, что от него и требовалось в данной ситуации.

В Англии для сержанта Гарпа не сумели сделать ровным счетом ничего. Однако ему повезло: его отправили домой, в Бостон, задолго до окончания войны. Этим озаботился некий сенатор. Одна из бостонских газет в редакционной статье обвинила ВМС США, что те, дескать, перевозят домой только таких раненых, которые принадлежат к богатым и влиятельным семьям Америки. Желая пресечь распространение столь нелепых слухов, тот сенатор выступил с заявлением, что если какому-либо тяжелораненому и посчастливилось вернуться в Америку, хотя война еще не кончена, то таким раненым «мог оказаться любой, *даже* сирота». Началась суета: искали хотя бы одного раненого сироту, чтобы подтвердить высказывание сенатора, и в итоге нашли даже лучше, чем просто сироту.

Сержант Гарп был не просто сиротой; он был идиотом, словарь которого состоял из одного-единственного слова, так что прессе он ни на что пожаловаться не мог. И на всех фото воздушный стрелок Гарп неизменно улыбался.

Когда пускающего слюни сержанта привезли в «Бостон-Мерси», Дженни Филдз не сразу сумела отнести его к какой-либо конкретной категории. Он явно был из «отсутствующих» (послушнее ребенка), однако насколько тяжелым является его ранение, Дженни не знала.

– Привет, как дела? – спросила она, когда Гарпа, по обыкновению улыбавшегося, ввезли на каталке в палату.

– Гарп! – рявкнул он в ответ.

Глазомоторный нерв у него частично восстановился, и глаза теперь практически не вращались, но все же дергались порой странными рывками. На руках у Гарпа красовались марлевые перчатки – результат того, что Гарпу вздумалось поиграть с огнем, когда на госпитальном судне случился пожар. Увидев пламя, он радостно потянулся к нему и в итоге не только обжег себе руки, но и брови начисто спалил; по мнению Дженни, он был похож на «обритую сову».

Ожоги у Гарпа, впрочем, были довольно легкие, так что его можно было бы отнести к категории «внешников», но по другим признакам он скорее подходил к категории «отсутствующих». Об этом свидетельствовал и еще один признак: в его медицинской карте было указано, что он часто и вполне успешно мастурбирует – вдобавок без малейшего смущения, – правда, теперь, с перевязанными руками, пока лишился такой возможности. Те, кто после пожара на корабле наблюдал за ним постоянно, опасались, что впавший в детство воздушный стрелок вскоре впадет также и в депрессию, поскольку остался без своего единственного «взрослого» развлечения.

Гарпа, разумеется, можно было отнести и к категории «жизненно важные органы». Голова, безусловно, орган жизненно важный, а в голову ему попало огромное количество

осколков, причем многие застряли в таких местах, что извлечь их было невозможно. И мозговые нарушения у сержанта Гарпа, увы, едва ли закончились упомянутой грубой «лоботомией»; застрявшие в мозгу осколки постоянно ухудшали общее состояние больного, которое, как писал позднее Гарп, «и без того было достаточно сложным».

В «Бостон-Мерси» еще до сержанта Гарпа был пациент с аналогичными повреждениями головы. Несколько месяцев он вполне успешно выздоравливал, правда все время разговаривал сам с собой да иногда мочился в постель. Но потом у него вдруг стали выпадать волосы, а если он начинал какую-нибудь фразу, то никак не мог ее завершить. А незадолго до смерти у него начали расти женские груди!

Если судить по результатам обследований, по теням и белым иглам на рентгеновских снимках, воздушный стрелок Гарп, скорее всего, относился к категории «конченых». Однако, по мнению Дженни Филдз, он выглядел просто прекрасно. Маленький, аккуратный человечек, бывший стрелок был в своих потребностях совершенно невинен и прям, как двухлетний ребенок. Он кричал: «Гарп!» – когда был голоден и когда радовался; он спрашивал: «Гарп?» – когда что-то его удивляло или когда он обращался к незнакомым людям; он просто говорил «Гарп» (как говорят «да-да», без вопросительной интонации), когда узнавал вошедшего. Обычно он был очень послушен и делал все, что ему велели, но полагаться на это не стоило: он был слишком забывчив и –

хотя порой проявлял разум и послушание шестилетнего ребенка – вполне мог вдруг стать таким же безмозглым и любопытным, как полуторагодовалый ползунок.

Депрессивные состояния, подробно описанные в медицинской карте Гарпа, по всей видимости, совпадали у него с эрекциями. В такие моменты он мог, например, ухватиться забинтованными руками за свой несчастный член и заплакать. Он плакал потому, что ощущение от обожженных и забинтованных рук было совсем не таким приятным, как – подсказывала ему его короткая память – от рук обнаженных, незабинтованных; кроме того, его рукам было просто больно к чему-либо прикасаться. Именно в такие моменты Дженни Филдз и старалась подольше посидеть с ним. Она почесывала ему спину между лопатками, и в итоге он от удовольствия начинал запрокидывать голову, как кошка; она все время о чем-то ласково говорила с ним, и голос ее был полон поистине восхитительных переливов. Сестры обычно говорили с пациентами спокойно, размеренно, даже монотонно – чтобы больной поскорее заснул. Но Дженни прекрасно знала, что Гарпу нужен вовсе не сон. Она понимала, что сейчас он, по сути дела, превратился в ребенка и ему просто скучно, его нужно чем-то развлечь. И Дженни старательно его развлекала. Она, например, включала для него радио, но с радио не все было так просто: некоторые передачи буквально выводили Гарпа из равновесия – никто не понимал почему. От других передач у него возникала чудовищная эрекция, что ве-

ло к очередной депрессии и прочим скверным последствиям. А во время одной радиопрограммы он уснул и кончил в постель прямо во сне. Это так его изумило и обрадовало, что с тех пор он всегда хотел по крайней мере видеть радиоприемник рядом с собой. Но Дженни так и не сумела вновь отыскать ту радиопередачу, хотя прекрасно знала, что, если ей удастся подключить бедного Гарпа к этой замечательной программе, и ее работа, и жизнь самого Гарпа станут гораздо веселее. Но это оказалось совсем не просто.

Всякие попытки научить Гарпа новым словам Дженни в итоге прекратила. Когда она его кормила и видела, что еда ему нравится, она говорила:

– Ах, как вкусно! Ведь вкусно, да!

– Гарп! – соглашался он.

А когда он с ужасными гримасами выплевывал пищу на слюнявчик, Дженни говорила:

– Да, и правда невкусно! Какая плохая еда!

– Гарп, Гарп… – давился он.

Первый признак того, что состояние пациента ухудшается, Дженни уловила, когда он потерял в слове «Гарп» первую букву. Однажды утром он встретил ее возгласом «Арп».

– Гарп, – поправила она. – Гарп!

– Арп, – сказал он; и она поняла, что дело худо.

День за днем он превращался в младенца. Когда он спал, то бестолково махал кулачками в воздухе, надувал губы, втягивал щеки, и веки его при этом трогательно подрагивали.

Дженни провела достаточно много времени с новорожденными и понимала, что воздушный стрелок во сне сосет материнскую грудь. Она даже подумывала, не украсть ли ей для него соску-пустышку из родильного отделения, но туда ей теперь ходить было запрещено. К тому же ее заранее раздражали возможные шутки коллег («А, да это наша Непорочная Дева Мария! Ты что, Дженни, хочешь стащить соску для своего младенца? Интересно, кто же счастливый отец?»). Дженни смотрела, как сержант Гарп чмокает губами во сне, и старалась убедить себя, что и последний его вздох будет спокойным и мирным: он вернется в эмбриональное состояние и просто перестанет дышать. Личность его благополучно отделится от тела, и одна ее половина будет видеть во сне космическое Яйцо, а вторая – оплодотворяющую его сперму. И в конце концов он просто исчезнет, перестанет существовать.

Собственно, все к тому и шло. Превращение Гарпа в младенца-сосунка стало столь явственным, что он даже просыпался, как младенец, через каждые четыре часа, чтобы его покормили. И плакал тоже, как младенец: личико багровело, из глаз брызгали слезы, которые, впрочем, тут же высыхали, стоило его успокоить – звуками радио или тихим голосом. Когда Дженни однажды сидела возле него, почесывая ему спинку, он отрыгнул, точно грудничок, и она расплакалась. Она искренне желала ему быстрого и безболезненного путешествия обратно в утробу матери и далее – к космическому Яйцу.

Если б у него руки зажили, думала Дженни, он бы и пальчик сосал. Когда он просыпался после своих «сосательных» снов, голодный, требуя грудь или то, что ему там снилось, Дженни давала ему свой палец, и он тут же буквально впивался в него. Хотя у Гарпа, как у всех взрослых людей, были вполне нормальные зубы, он явно считал себя беззубым младенцем и ни разу ее за палец не укусил. Именно это и подвигло Дженни предложить ему однажды ночью не палец, а собственную грудь. Грудь он взял тут же и сосал неутомимо, точно очень голодный младенец, причем не испытывал никакого неудовольствия оттого, что высосать из ее груди было нечего. А Дженни думала, что, если он будет продолжать сосать ее грудь, у нее в конце концов, может быть, появится и молоко; она ощущала, как мощно напрягается ее матка от прилива материнских и сексуальных чувств, и ощущения эти стали настолько острыми, что некоторое время она верила даже, что способна и *зачать* оттого лишь, что ее грудь сосет впавший в детство воздушный стрелок.

Гарп действительно был похож на ее младенца, а она – на кормящую мать, да только в младенца он превратился все-таки еще *не совсем*. Однажды ночью, когда он сосал ее грудь, Дженни заметила, что у него мощная эрекция – даже простыня поднялась. Замотанными в бинты руками Гарп пытался онанировать, завывая от разочарования и боли, и при этом чуть ли не по-волчьи въедался ей в грудь. Тогда она решила ему помочь и взяла его член в свою чистую прохладную ру-

ку. Он перестал сосать ее грудь, просто тыкался в нее носом и постанывал: «Ар!» Конечное «п» он теперь тоже потерял.

Сперва было «Гарп», потом «Арп», а теперь осталось только «Ар», и Дженни понимала, что он умирает. В его распоряжении остались всего две буквы – одна гласная и одна согласная.

Когда он кончил, она почувствовала, что ладонь у нее залита чем-то горячим и липким, а из-под простыни пахнет как летом в теплице – мощной фертильностью, нелепой (в данном случае) способностью к размножению, целиком вышедшей из-под контроля. В теплице в таких условиях можно сажать все что угодно – все вырастет, расцветет, станет приносить плоды. Дженни даже подумалось: если пролить в теплую тепличную землю хоть немного спермы раненого Гарпа, то детишки, наверное, начнут проклевываться из этой земли буквально на глазах.

Эту мысль она обдумывала еще целых двадцать четыре часа.

– Гарп? – шепотом окликнула раненого Дженни и, расстегнув блузку, вынула груди, которые всегда считала чересчур большими. – Гарп! – прошептала она еще раз ему на ухо; его веки дрогнули, губы вытянулись вперед.

Их уголок, точно белым саваном, был отгорожен от остальной палаты занавеской из белых простынь. По одну сторону от Гарпа лежал «внешник» – жертва огнемета, весь

скользкий от мазей и обмотанный бинтами. Веки у него отсутствовали, так что казалось, он все время подсматривает, но он был слеп. Дженни скинула свои тяжелые туфли, отстегнула чулки, сняла платье. Потом приложила палец к губам Гарпа.

По другую сторону от отгороженной белым кровати Гарпа лежал пациент из категории «жизненно важные органы», совершавший постепенный переход в категорию «отсутствующих». Он лишился большей части толстого кишечника, включая прямую кишку; теперь у него еще и барахлили почки, а боли в печени доводили до умопомешательства. Кроме того, его мучили ужасные кошмары, будто его заставляли насильно справлять большую и малую нужду, хотя об этом вообще уже речи не было. По сути дела, он ничего и не чувствовал, ибо эти физиологические функции осуществлял через трубки, подсоединенные к резиновым емкостям. Он часто довольно громко стонал и, в отличие от Гарпа, четко произносил при этом разные слова.

– Вот дерьмо! – простонал он.

– Гарп! – чуть громче прошептала Дженни, сняла с себя комбинацию, трусики и лифчик и откинула простыню, которой был укрыт Гарп.

– О господи! – тихо пробормотал «внешник». Губы у него были в пузырях от ожогов.

– Дерьмо проклятое! – заорал тот, что был из категории «жизненно важные органы».

– Гарп, – внятно сказала Дженни Филдз и, ухватив башенного стрелка за сильно эрегированный член, оседлала его, широко раздвинув ноги.

– А-а-а! – только и сказал Гарп. Теперь он и «р» потерял. Для выражения радости и горя у него осталась всего лишь одна гласная. – А-а-а… – удовлетворенно вздохнул он, когда Дженни опустилась на него всем своим весом.

– Гарп, – спросила она, – тебе хорошо? Хорошо?

– Хорошо, – совершенно отчетливо произнес он.

И это было единственное слово, которое ему удалось извлечь из своей искалеченной памяти, когда он вошел в нее. Первое и последнее настоящее слово, которое Дженни Филдз от него услышала. Стоило ему кончить, снабдив Дженни своей животворной спермой, как он снова вернулся к уровню одной-единственной гласной. А потом и вовсе закрыл глаза и уснул. И когда Дженни предложила ему грудь, оказалось, что «младенец» уже не голоден.

– О господи! – крикнул «внешник». Звук «г» он произносил очень мягко, почти растворяя его: язык у него тоже был обожжен.

– Да пошел ты!.. – рявкнул «жизненно важные органы».

Дженни Филдз обмыла и Гарпа, и себя теплой водой с мылом, воспользовавшись белым эмалированным больничным тазиком. Конечно же, она не собиралась спринцеваться! И у нее не было практически никаких сомнений в том, что чудо зачатия свершилось. Она ощущала себя столь же восприим-

чивой к посеву, как хорошо подготовленная почва – унавоженная, удобренная, взрыхленная, – и, по ее мнению, Гарп влил в нее столько своей животворной жидкости, что запросто летом мог бы поливать лужайки вместо поливальных машин.

Больше она с ним этим не занималась. Причин не было. Да и не очень-то ей это понравилось. Но время от времени она все же помогала ему рукой, а когда он плакал, давала ему грудь, но через неделю-другую эрекции у него прекратились совсем. Когда ему сняли повязки с рук, врачи обнаружили, что даже процесс заживления как будто повернул вспять, так что руки пришлось забинтовать снова. Сосать грудь он тоже больше не хотел, и Дженни думала, что он, наверное, видит во сне примерно то же, что, скажем, могла бы видеть во сне рыба. Она понимала: Гарп вернулся в материнское чрево – приняв эмбриональную позу, он маленькой кучкой лежал посредине кровати и не издавал ни звука. Однажды утром Дженни заметила, как он брыкнул своей маленькой, слабой ножкой, и ей почудилось, что это у нее в утробе толкнулся младенец. И хотя для таких толчков было еще рановато, она поняла, что ее ребенок уже существует, уже вовсю растет и развивается.

Вскоре Гарп и брыкаться перестал. Дышал он пока самостоятельно, снабжая свой слабенький организм кислородом, но Дженни понимала, что это не более чем лишний пример человеческой приспособляемости. Гарп перестал есть – при-

шлось питать его внутривенно, подсоединив к нему что-то вроде пуповины. Дженни с некоторой нервозностью ожидала наступления заключительной фазы. Может быть, под конец он все же начнет бороться за жизнь, как отчаянно борются за жизнь сперматозоиды? Или, может быть, и космическая сперма не поможет, и беззащитному Яйцу останется просто ждать смерти? Да и как разделится душа Гарпа в его последнем коротком путешествии вспять? Однако последней фазы Дженни не наблюдала: сержант Гарп умер, когда у нее был выходной.

«А когда же еще он мог умереть? – писал позднее его сын. – Только в отсутствие мамы. Для него это была единственная возможность улизнуть».

«Конечно же, меня обуревали самые разные чувства, когда он умер, – писала Дженни Филдз в своей знаменитой автобиографии. – Но я знала: лучшая его часть осталась во мне. И для нас обоих это был единственный способ: для него – продолжить жизнь, для меня – заполучить ребенка. А что весь остальной мир считает это аморальным, по-моему, говорит лишь о том, что остальной мир не уважает права личности».

Шел 1943 год. Когда беременность Дженни стала заметной, она потеряла работу. Естественно, именно этого и ожидали от нее родители и братья! Они нисколько не удивились. Впрочем, и сама Дженни давно прекратила попытки убедить их в своей невинности. Теперь она, как призрак, бродила

по длинным коридорам родительского дома на берегу Догз-Хэд-Харбор, однако вид у нее был вполне довольный. Невозмутимость Дженни настолько ошеломила все семейство, что ее оставили в покое. И она втайне была совершенно счастлива; однако, принимая во внимание то, сколько времени она посвящала мыслям о будущем ребенке, представляется удивительным, что ей и в голову не пришло придумать ему имя.

И когда Дженни наконец произвела на свет отличного девятифунтового младенца, никакого имени у нее наготове не оказалось. Едва Дженни разрешилась от бремени, мать спросила ее, как она намерена назвать сына, но Дженни только что приняла успокоительное, и говорить ей не хотелось, а хотелось спать.

– Гарп, – только и сказала она.

Отец Дженни, обувной король, решил даже, что это просто отрыжка, вызванная значительным напряжением, но мать шепнула ему:

– Это его имя. Гарп.

– Гарп? – переспросил он.

Оба понимали, что теперь могли бы и установить, кто отец ребенка, ибо Дженни, естественно, ни в чем раньше не признавалась.

– Ах, сукин сын! – прошептал отец Дженни. – Выясни у нее, это его имя или фамилия?

– Дорогая, но Гарп – это имя или фамилия? – Мать склонилась к Дженни.

А Дженни уже почти спала.

– Просто Гарп, – с трудом пробормотала она. – Гарп, и все.

– Думаю, это фамилия, – сказала мать.

– А имя? – довольно резко спросил отец.

– Понятия не имею, – пробормотала Дженни.

Что было сущей правдой: она действительно не имела об этом ни малейшего понятия.

– Она даже не знает, как звали этого типа! – возмущенно заорал отец.

– Тише, дорогой, – сказала мать. – Дженни, милая, конечно же, у него не могло не быть имени!

– Техник-сержант Гарп, – сообщила ей Дженни Филдз.

– Траханый солдат! Так я и знал! – Отец был вне себя.

– Техник-сержант? – переспросила мать.

– Ну да, Т. С., – сказала Дженни Филдз. – Т. С. Гарп. Так и будут звать моего сына. – И она уснула.

Отец Дженни был просто вне себя.

– Т. С. Гарп! – орал он. – Что это еще за дурацкое имя для ребенка?!

– Ну да, это его имя, – позднее подтвердила свое решение Дженни. – Это его собственное, черт побери, имя! Его собственное!

«До чего же здорово было ходить в школу с таким именем, – писал позднее Гарп. – Учителя вечно спрашивали, что означают эти инициалы. Сперва я отвечал, что это *просто инициалы*, но мне никто не верил. Потом я стал предлагать:

„А вы позвоните моей матери, она вам объяснит“. И они звонили! И моя старушка Дженни выдавала им на полную катушку!»

Так мир получил Т. С. Гарпа. Его матерью была хорошая и честная медсестра, и родился он в полном соответствии с ее желанием; а отцом – воздушный башенный стрелок. Т. С. Гарп стал последним выстрелом в его жизни.

Глава II
Кровь и синяк

Гарп всегда подозревал, что умрет молодым. «Как и у моего отца, – писал он, – у меня, видимо, некая склонность к краткости. Я – человек одного выстрела».

Гарп едва избежал участи вырасти на территории женской школы, где его матери предложили работу медсестры. Но Дженни Филдз поняла, какие опасности таит в себе такое решение вопроса: маленький Гарп постоянно находился бы в окружении сплошных женщин (Дженни с Гарпом предложили квартирку в одном из общежитий). Она живо представила себе первый сексуальный опыт сына: фантазия эта была инспирирована видом и запахами школьной прачечной, где не в меру резвые девицы, разыгравшись, вполне могли засунуть ребенка в мягкую гору своего нижнего белья. Дженни хотелось получить эту работу, но ради Гарпа она от нее отказалась и вскоре устроилась в огромную и знаменитую Стиринг-скул, где стала всего лишь одной из многих медсестер, а жить ей с Гарпом предстояло рядом со школьным изолятором, находившимся в холодной пристройке к школьному зданию, где окна были как в тюрьме.

«Ну и не расстраивайся», – сказал Дженни отец. Он сердился на нее за то, что она вообще пошла работать; денег

в семье было более чем достаточно, и ему было бы гораздо спокойнее, если бы дочь просто укрылась в родительском доме, пока ее ублюдок не вырастет и не уберется прочь. «Если у твоего ребенка вдруг обнаружатся врожденные способности, – говорил Дженни отец, – он в итоге и так будет учиться в Стиринг-скул, а сейчас пусть бы рос здесь, в более подходящей для него обстановке».

«Врожденные способности» относились к числу тех выражений, какими пользовался отец Дженни, говоря о сомнительном генетическом наследстве воздушного стрелка Гарпа. Стиринг-скул, где в свое время учились и отец Дженни, и ее братья, была в ту пору чисто мужской школой. Дженни надеялась, что, если ей удастся выдержать заключение в этой «тюрьме» хотя бы несколько лет, пока Гарп будет учиться в подготовительных классах, она уже сделает для своего сына практически максимум возможного. «Таким образом ты хочешь компенсировать ему отсутствие отца!» – заявил ей отец.

«Странно, – писал позднее Гарп, – что моя мать, которая прекрасно знала себя и понимала, как неприятно ей жить рядом даже с одним мужчиной, решилась поселиться рядом с восьмью сотнями мальчиков».

Итак, Гарп рос при матери в маленькой квартирке возле школьного изолятора. Относились к нему, правда, не так, как ученики обычно относятся к «учительскому отродью». Во-первых, школьная медсестра не считалась настоящим

членом преподавательского состава; более того, Дженни не делала ни малейших попыток изобрести для Гарпа какого-нибудь мифического отца – придумать какую-нибудь историю, чтобы мало-мальски узаконить происхождение своего сына. Она принадлежала к семейству Филдз и полагала необходимым сообщать всем и каждому свою фамилию. А ее сын был просто Гарп. И она полагала необходимым всем и каждому сообщать, что ее сына зовут именно Гарп. «Это его собственное имя», – говорила она.

И все всё поняли. В Стиринг-скул не только спокойно относились к некоторым проявлениям надменности и самоуверенности; пожалуй, некоторые их проявления здесь даже поощрялись, однако в приемлемых пределах. В конце концов, это ведь тоже дело вкуса и стиля. Надменным и самоуверенным следует быть только по достойным причинам, а способ проявления надменной самоуверенности обязан все же быть разумным и даже очаровательным, особенно у женщины. Впрочем, сообразительность не относилась к числу «врожденных способностей» самой Дженни. Впоследствии Гарп писал, что его мать «сама никогда специально не стремилась казаться надменной, но была надменна лишь по принуждению». Впрочем, в сообществе Стиринг-скул и гордость весьма почиталась, однако Дженни Филдз, похоже, гордилась своим *незаконнорожденным* сыном. Вешать голову, разумеется, у нее не было никакого резона, и все же она могла бы выказать хоть чуточку смирения.

Но Дженни не только гордилась Гарпом; она была чрезвычайно горда и довольна тем способом, каким его заполучила. Впрочем, тогда мир еще не познакомился с этим способом, ибо Дженни еще не успела опубликовать свою знаменитую автобиографию, даже не начала еще писать ее. Она ждала, пока сам Гарп достаточно подрастет, чтобы узнать и должным образом оценить эту историю.

Пока что Гарп знал только то, что Дженни говорила каждому, у кого хватало наглости ее расспрашивать. И ответы сводились к трем коротеньким фразам.

1. Отцом Гарпа был солдат.
2. Он погиб на войне.
3. До свадеб ли, когда вокруг война?

И четкость ее ответов, и таинственность этой истории можно ведь интерпретировать и в романтическом духе. Например, отец Гарпа вполне мог быть героем войны. Можно вообразить себе даже некий роман, изначально обреченный на печальный конец. Медсестра Филдз вполне могла служить в полевом лазарете. И влюбиться «прямо на фронте». А отец Гарпа вполне мог считать, что обязан исполнить свой последний долг «перед людьми». Однако Дженни Филдз ни единым словом не поощряла подобных мелодраматических выводов. Начать с того, что своим одиночеством она была чрезвычайно довольна и никогда не напускала туману, говоря о своем прошлом. Практически ничто не отвлекало ее от воспитания маленького Гарпа – она всецело посвятила себя

сыну. Да еще и умудрялась оставаться отличной медсестрой.

Конечно, фамилия Филдз в Стиринг-скул была хорошо известна. Знаменитый обувной король Новой Англии был из самых щедрых выпускников. Впоследствии он стал даже членом попечительского совета, хотя неизвестно, подозревали об этом Дженни с Гарпом или нет. Его состояние не принадлежало к самым старым в Новой Англии, но он не был и нуворишем, а его жена, мать Дженни, происходила из бостонского семейства Уикс, которое в Стиринг-скул знали, пожалуй, еще лучше. Кое-кто из пожилых преподавателей помнил, что много лет подряд школу непременно оканчивал кто-нибудь из Уиксов. И все же, как считало большинство в Стиринг-скул, Дженни Филдз, к сожалению, не унаследовала тех способностей, какими обладали другие члены этого семейства. Она была красива, это признавали все, но простовата и вечно ходила в халате медсестры, хотя могла одеваться куда лучше. По сути, вся эта история с ее превращением в медсестру – а Дженни, кстати, очень гордилась своей профессией – выглядела достаточно странно. Особенно если учесть, из какой Дженни была семьи! Профессия медсестры не считалась достойной для дочери семейства Филдз или Уикс.

Что до общения с людьми, то Дженни отличалась такой неуклюжей серьезностью, от которой люди более веселые и развязные невольно чувствуют себя не в своей тарелке. Она много читала и постоянно рылась на полках школьной биб-

лиотеки; стоило заинтересоваться какой-нибудь книгой, как выяснялось, что она уже выдана медсестре Филдз. На запросы по телефону Дженни в таких случаях отвечала очень вежливо и нередко даже предлагала доставить желающему означенную книгу – как только сама ее дочитает. Впрочем, читала она очень быстро, но никогда не говорила, что́ думает о той или иной книге. А в школьном сообществе человек, который читает книги с какой-то своей, тайной целью, не стремясь обсуждать прочитанное с другими, всегда слывет странным. С какой же целью читала Дженни?

Еще более странно, что в свободное от работы время она посещала различные лекции и курсы. В уставе Стиринг-скул было записано, что преподавательский состав и обслуживающий персонал школы (и/или их супруги) могут бесплатно посещать любые занятия, просто получив разрешение от преподавателя. Кто мог отказать медсестре? И она ходила слушать всевозможные лекции: по истории Елизаветинской эпохи, по истории викторианского романа, по истории России до 1917 года, по основам генетики, по истории западной цивилизации (и вводный, и общий курсы!). В течение нескольких лет Дженни Филдз шла от Цезаря к Эйзенхауэру, попутно изучая Лютера и Ленина, Эразма и кариокинез, осмос и Фрейда, Рембрандта, Ван Гога и хромосомы – поднимаясь от Стикса до Темзы и от Гомера до Вирджинии Вулф. На этом пути от Афин до Освенцима она не произнесла ни слова. На любых занятиях она была единственной

женщиной. Спокойная, в своем белом медицинском халате, она слушала так тихо и внимательно, что мальчики, а в конце концов и сам преподаватель совершенно забывали о ней и чувствовали себя абсолютно свободно. У них продолжался обычный учебный процесс, а Дженни сидела среди них, белая, тихая, безмолвная, – то ли бесстрастный свидетель происходящего, то ли судия, всем и вся выносящий свой молчаливый приговор.

Дженни Филдз получала то образование, которого ждала все предыдущие годы, и вот теперь для этого как будто наконец пришло время. Но мотивы, двигавшие ею, были не вполне эгоистичны – она изучала Стиринг-скул прежде всего с точки зрения ее пригодности для своего сына. Когда Гарп достигнет школьного возраста, она будет в состоянии давать ему советы и консультации, хорошо представляя себе, что́ в каком предмете «мертвый груз», какие дисциплины являются профилирующими, а какие и вовсе никому не нужны.

Книги переполняли ее крошечную квартирку рядом с изолятором. Она провела в Стиринг-скул десять лет, прежде чем обнаружила, что в книжном магазине дают десять процентов скидки всем преподавателям и обслуживающему персоналу (ей эту скидку в магазине никогда не предлагали). Это ее разозлило. Сама-то она давала книги всем желающим, а в конце концов стала размещать их на полках в комнатах унылого изоляторного крыла. Потом книги наводнили и это помещение, просочились в приемную, в рентгеновский

кабинет, сперва закрыв собой, а затем и полностью вытеснив газеты и журналы. И мало-помалу, заболев и побывав в изоляторе, ученики Стиринг-скул начинали осознавать, каким серьезным местом является эта школа, если даже медицинский изолятор не забит, как в обычной больнице, легким чтивом и газетно-журнальной макулатурой. В очереди к врачу можно было просмотреть такие солидные исследования, как «Осень Средневековья»; ожидая результатов лабораторных анализов, можно было попросить сестру принести какой-нибудь бесценный труд по генетике, например «Ген и гено́м». Если ты серьезно заболевал и надолго застревал в изоляторе, в твоем полном распоряжении была, скажем, «Волшебная гора». Для мальчишки с переломом ноги или еще какой-нибудь травмой, полученной на спортплощадке, всегда находились отличные литературные герои с замечательно интересными приключениями – здесь можно было почитать Конрада и Мелвилла, а не «Спортс иллюстрейтед»; вместо «Тайма» и «Ньюсуика» лежали Диккенс, Хемингуэй и Марк Твен. Какое райское наслаждение для любителей литературы – заболеть и попасть в изолятор Стиринг-скул! По крайней мере, это была больница с хорошим запасом хорошей литературы.

К тому времени, как Дженни Филдз провела в Стиринг-скул лет двенадцать, у школьных библиотекарей уже выработалась привычка: выяснив, что у них нет той или иной книги, которую кто-то спрашивает, говорить: «Навер-

ное, она есть в изоляторе».

Да и продавцы книжного магазина, если какая-то книга заканчивалась на складе, а заказы на нее издатели уже не принимали, вполне могли порекомендовать: «Обратитесь к медсестре Филдз; может быть, у нее есть».

А Дженни, хмуро выслушав подобную просьбу, обычно отвечала: «Кажется, она в двадцать шестой палате, в изоляторе, ее как раз читает Маккарти. У него грипп. Вот закончит и с радостью передаст ее вам». Или, в другом случае, она могла сказать: «В последний раз я видела ее у бассейна. Возможно, первые страницы у нее немного подмокли».

Трудно сказать, насколько влияние Дженни отразилось на качестве обучения в Стиринг-скул, но сама она так никогда и не простила тамошнему магазину, что в течение десяти лет ее обманывали, не давая десятипроцентной скидки. «Этому книжному магазину моя мать оказала поистине неоценимую помощь, – писал позднее Гарп. – По сравнению с нею в Стиринге вообще никто ничего не читал».

Когда Гарпу исполнилось два года, Стиринг-скул предложила Дженни трехгодичный контракт; она, бесспорно, была хорошей медсестрой, ну а что до некоторого раздражения, которое она у многих вызывала, то за последние два года оно ничуть не усилилось. Ребенок, в конце концов, был таким же, как все дети; разве что летом загар у него был потемнее, чем у других, а зимой он выглядел побледнее – да еще, пожа-

луй, толстоват немного. Он вообще был какой-то кругленький, как закутанный в меха эскимос, даже когда вообще ни во что не был закутан. А те из молодых преподавателей, которые только что вернулись с войны, говорили, что им этот ребенок больше всего напоминает бомбу. Но даже незаконнорожденные дети – все-таки дети. Так что с тем легким раздражением, которое вызывали странности Дженни, в целом вполне можно было мириться.

Она согласилась на трехгодичный контракт, продолжая постоянно учиться, повышать свой интеллектуальный уровень, а заодно мостить для маленького Гарпа дорогу в Стиринг-скул. «Высокий уровень образования» – вот что могла предложить Гарпу Стиринг-скул. Так утверждал отец Дженни. И она решила сперва убедиться в этом сама.

Когда Гарпу исполнилось пять, Дженни Филдз стала старшей медсестрой. Найти молодых и активных медсестер, которые бы выдержали буйный темперамент и непредсказуемое поведение мальчишек-подростков, – дело трудное; еще труднее было найти таких, которые согласились бы жить при школе, а Дженни, казалось, была вполне довольна и своей работой, и своим жильем рядом с изолятором. В этом смысле она стала для многих чем-то вроде матери – всегда приходила на помощь по ночам, когда кого-то из ребят начинало тошнить, или у кого-то разбивалась чашка и он не мог напиться, или кто-то тщетно пытался вызвать звонком дежурную сестру. Или когда кто-нибудь из хулиганистых пар-

ней затевал ночью возню, гонки на больничных кроватях или гладиаторские бои на инвалидных креслах, завлекал разговорами городских девчонок, которые так и лезли к забранным железными решетками окнам изолятора, а некоторые сорванцы даже пытались перебраться через кирпичную стену изолятора по толстым побегам плюща, обвивавшим все здание.

Изолятор сообщался с пристройкой подземным туннелем, достаточно широким, чтобы проехала больничная койка на колесах, с обеих сторон сопровождаемая медсестрами (желательно худенькими). Хулиганистые парни нередко играли в этом туннеле в шары, и стук шаров был слышен Дженни и Гарпу в их отдаленной пристройке. Звуки эти вызывали ощущение, будто все крысы и кролики из школьной лаборатории, расположенной в подвале, за одну ночь успели вырасти до гигантских размеров и теперь катали по туннелю мусорные баки, подталкивая их своими длинными мордами и стараясь загнать как можно глубже.

Когда Гарпу исполнилось пять – и когда его мать стала старшей сестрой, – общество в Стиринг-скул заметило в мальчике некую странность. Что уж такого особенно странного и отличного от других может быть в пятилетнем ребенке, не совсем ясно, но голова Гарпа почему-то казалась слишком гладкой, темной и мокрой (словно голова тюленя), а удивительная компактность и округлость его тела вновь и вновь вызывала к жизни сплетни об унаследованных им

генах. Темпераментом ребенок походил на мать: решительный, может быть чуточку туповатый, он держался несколько отчужденно и всегда довольно настороженно. Для своего возраста он был, пожалуй, мелковат, зато в других отношениях казался неестественно взрослым. Особенно всех раздражало его недетское спокойствие. Аккуратный, коренастенький, он напоминал зверька, отлично умеющего держать равновесие и координировать свои движения. Матери других детишек иной раз с тревогой отмечали, что Гарп запросто может взобраться практически на любую высоту: на самое высокое дерево, на любой гимнастический снаряд, на вершину ледяной горки. Ему это ничего не стоило.

Однажды вечером после ужина Дженни никак не могла отыскать сынишку. Вообще-то, ему позволялось свободно гулять по изолятору и пристройке, разговаривать с ребятами, и Дженни обычно звала его домой с помощью интеркома. «Гарп, домой!» – коротко произносила она. Мальчику были даны четкие указания, в какие именно палаты ходить нельзя, например в инфекционные, и с кем лучше не болтать – обычно с теми, кто чувствовал себя скверно и хотел, чтобы его оставили в покое. Чаще всего Гарп торчал у ребят со спортивными травмами: он любил рассматривать гипсовые повязки, разные вытяжки, подвески, огромные бандажи и слушать рассказы о том, как эти травмы были получены, причем охотно слушал одно и то же по многу раз. Как

и его мать, медсестра по призванию, малыш Гарп был просто счастлив оказать больным какую-нибудь услугу: сбегать куда-нибудь с поручением, отнести записку, притащить поесть. И вот однажды ночью пятилетний Гарп не отозвался на призыв: «Гарп, домой!» Динамики интеркома были во всех помещениях изолятора и пристройки, даже там, куда Гарпу строго воспрещалось заходить, – в лаборатории, в операционной, в рентгенкабинете. И поскольку Гарп не услышал призыв «Гарп, домой!», Дженни поняла, что он либо попал в беду, либо находится вне здания. И быстро организовала поисковую группу из наиболее здоровых и мобильных пациентов.

Ночь выдалась туманная (дело было ранней весной); одни ребята, выйдя наружу, стали громко звать Гарпа сквозь мокрую мглу, окутавшую заросли кустарника и парковочную площадку. Другие искали его по темным углам и пустым складским помещениям, куда ему вообще ходить было запрещено. Гарп не откликался, и Дженни впервые почувствовала страх. Она проверила спуск для грязного белья – скользкую трубу, ведшую с четвертого этажа сквозь все здание прямо в подвал (Гарпу не разрешалось даже грязное белье туда сбрасывать). Но на холодном бетонном полу подвала, куда из этой трубы вылетало все, что туда бросали, оказалось только грязное белье. Дженни проверила и бойлерную, и раскаленную огромную водогрейную печь, но Гарп там явно не испекся. Она проверила все лестничные клетки,

но Гарп хорошо знал, что играть на лестнице нельзя, так что его искалеченного тела ни под одной из лестниц не нашли. Тогда Дженни обуяли необъяснимые страхи: например, что Гарп пал жертвой какого-нибудь тайного сексуального маньяка из числа учеников Стиринг-скул. Однако ранней весной в изоляторе лежало слишком много мальчишек, Дженни и уследить-то за всеми не могла, а уж узнать их как следует, чтоб подозревать в сексуальных извращениях, и подавно. В изоляторе хватало ненормальных, которые рванули купаться в первый же солнечный день, хотя даже снег еще не весь растаял. Были там и последние жертвы затяжных зимних простуд, ослабевшие настолько, что у них уже не осталось сил сопротивляться болезни. Были и жертвы последних зимних соревнований и первых весенних состязаний.

Один такой, верзила по фамилии Хэтуэй, в данный момент как раз давил на звонок, вызывая Дженни к себе в палату на четвертый этаж. Хэтуэй, играя в лакросс, порвал себе связки в колене; ему наложили гипс и разрешили передвигаться исключительно на костылях, а он спустя два дня после этого отправился гулять под дождем, резиновые набалдашники костылей соскользнули с верхней ступеньки длинной мраморной лестницы Хайл-холла, и при падении бедолага сломал себе и здоровую ногу. И теперь обе длинные загипсованные ноги Хэтуэя беспомощно лежали на постели, а он по-прежнему гордо сжимал в своих огромных ручищах клюшку для лакросса. Лежал он в палате на четвертом этаже один,

поскольку остальным почему-то очень не нравилась его идиотская привычка кидать мяч через всю палату, чтоб он отскакивал от дальней стены. Ловко поймав жесткий и прыгучий мяч сеткой на конце клюшки, Хэтуэй снова и снова кидал его в стену. Дженни легко могла бы заставить его прекратить это, но у нее был собственный сын, и она отлично знала, что мальчишкам иногда просто необходимо предаваться какому-нибудь бессмысленному, бесконечно повторяющемуся занятию. Это, похоже, давало им возможность расслабиться, будь им пять лет, как Гарпу, или семнадцать, как Хэтуэю.

Однако ее бесило, когда Хэтуэй, не всегда достаточно ловко обращавшийся со своей клюшкой, начинал то и дело терять мячи и трезвонить ей. Она все сделала, чтобы удалить его от остальных пациентов, чтобы никто больше не жаловался на стук мяча, но, уронив мяч, Хэтуэй неизменно звонил и требовал, чтобы ему кто-нибудь этот мяч подал. Хотя в изоляторе имелся лифт, на четвертый этаж редко кто забирался, и Дженни, увидев, что лифт занят, бегом понеслась наверх и, когда добралась до палаты Хэтуэя, сильно запыхалась и разозлилась.

– Я знаю, что для тебя значит эта игра, Хэтуэй, – сказала Дженни, – но сейчас твои звонки совершенно неуместны: нет у меня времени искать твой мяч! У меня Гарп потерялся!

Хэтуэй был, в общем, парнишка добродушный, но не слишком сообразительный, с одутловатым лицом, пока что абсолютно лишенным признаков растительности. Зато надо

лбом у него вечно торчали рыжеватые космы, и одна прядь упорно свисала вниз, закрывая один из его водянистых глаз, поэтому у него была привычка мотать головой, откидывая упрямую прядь назад. Однако рыжие космы все равно снова падали ему на глаза, и по этой причине, а также в силу его высокого роста окружающие смотрели на Хэтуэя снизу вверх, тщетно пытаясь увидеть оба его глаза, но видели только широко вырезанные ноздри.

– Мисс Филдз, а знаете… – сказал Хэтуэй, и только тут Дженни заметила, что в руках у него нет клюшки для лакросса.

– Ну, что еще? – раздраженно буркнула Дженни. – Извини, у меня совершенно нет времени. Гарп куда-то потерялся, и я его ищу, ищу…

– А, – сказал Хэтуэй, – извините. – И огляделся по сторонам, словно Гарп мог прятаться где-то здесь, и повторил: – Извините, мисс Филдз, мне очень жаль, что я не могу помочь вам его искать… – И он беспомощно взглянул на свои загипсованные ноги.

Дженни легонько постучала пальцами по его загипсованному колену – словно в дверь комнаты, где кто-то спит.

– Ничего, не беспокойся, – сказала она. И замолчала, ожидая, что он все-таки скажет, зачем вызвал ее на четвертый этаж; но Хэтуэй, казалось, совсем об этом забыл. – Эй, Хэтуэй! – окликнула она его и опять легонько постучала по гипсу, как бы желая узнать, есть ли кто дома. – Что тебе было

нужно-то? Опять свой мяч потерял?

– Нет, – наконец отозвался Хэтуэй. – Я потерял клюшку.

И они оба машинально стали осматривать палату в надежде понять, куда же могла деться клюшка.

– Я спал, – объяснил Дженни Хэтуэй, – а когда проснулся, клюшки уже не было.

Сперва Дженни пришло в голову, что это дело рук Меклера, сущего проклятия для всего второго этажа изолятора.

Обладавший блестящими способностями, но весьма язвительный и вредный, этот мальчик попадал в изолятор практически каждый месяц, по крайней мере дня на четыре. В свои шестнадцать лет он уже был заядлым курильщиком – действительно смолил непрерывно, одну за одной. Меклер редактировал все школьные издания и дважды получал высшие награды за свои работы по гуманитарным дисциплинам. Откровенно презирая то, чем кормили в школьной столовой, он питался исключительно кофе и бутербродами с яичницей, которые покупал в закусочной Бастера, где, по сути, и писал свои длинные (и обычно здорово просроченные), но совершенно блестящие курсовые работы и доклады. Ежемесячно попадая в изолятор на предмет излечения от последствий физического надругательства над своим желудком и нервной системой, Меклер всякий раз обращал свои блестящие способности на придумывание жутких выходок, ни одну из которых Дженни так никогда и не смогла вменить ему в вину. Один раз он «заварил» в заварном чайнике, отправ-

ленном в лабораторию, головастиков, и сотрудники лаборатории долго жаловались потом, что чай пахнет рыбой; в другой раз Меклер – Дженни была уверена, что это его работа! – наполнил презерватив яичным белком и аккуратно пристроил к ручке двери ее квартиры. Она прекрасно знала, что внутри «резинки» яичный белок – она потом обнаружила даже скорлупки от яиц. В своей сумочке. И не кто иной, как Меклер, Дженни была уверена, организовал несколько лет назад во время эпидемии ветрянки совершенно идиотскую затею на третьем этаже изолятора: сперва мальчишки по очереди дрочили, а потом сломя голову неслись к микроскопам с горячей спермой в руке, чтоб проверить, не стали ли они стерильными в результате болезни.

Что же до клюшки для лакросса, то Дженни полагала, что просто украсть ее – совершенно не в стиле Меклера; он, скорее всего, просто прорезал бы дырку в ее сетке, а потом вложил бы ставшую бесполезной клюшку в руки спящего Хэтуэя.

– Знаешь, мне кажется, это Гарп взял твою клюшку, – сказала Дженни Хэтуэю. – Найдем Гарпа, найдется и клюшка. – И она (наверное, уже в сотый раз!) подавила желание убрать у Хэтуэя с глаз треклятый клок рыжих волос, но вместо этого просто ласково пожала пальцы его ног, торчавшие из гипса.

Итак, если Гарп решил поиграть в лакросс, размышляла Дженни, то куда он мог направиться? На улице уже темно, мячика совсем не видно, недолго его и потерять. Единствен-

ное место, где Гарп мог не услышать ее призыв по интеркому, – подземный туннель между пристройкой и изолятором. Он же – отличное место для игры в лакросс. Дженни это прекрасно знала. Она не раз прогоняла оттуда мальчишек, а однажды ей пришлось уже после полуночи разнимать там настоящую свалку. Дженни спустилась на лифте прямо в подвал. Этот Хэтуэй, в сущности, парень очень приятный, думала она; неплохо бы и Гарпу вырасти таким же. Хотя лучше бы он вырос немного поумнее.

Хэтуэй соображал медленно, но все же вполне соображал. И очень надеялся, что с Гарпом ничего не случилось. Он совершенно искренне жалел, что не может подняться и помочь в поисках. Гарп частенько забегал к нему в палату. Хэтуэй ему нравился – еще бы, поверженный атлет с гипсом на обеих ногах! Это было куда интереснее, чем обычные ребята. Кроме того, Хэтуэй позволил Гарпу рисовать на его гипсе цветными карандашами, и теперь поверх многочисленных подписей, оставленных там приятелями Хэтуэя, красовались кривые, перекрученные морды и чудища, порожденные воображением Гарпа. Беспокоясь о Гарпе, Хэтуэй взглянул на эти рисунки и вдруг заметил мяч для лакросса, зажатый между загипсованными бедрами. Вот почему он его не почувствовал! Мяч лежал у него между ног, словно яйцо, которое Хэтуэй сам отложил и теперь высиживал. Интересно, как же это Гарп играет в лакросс без мяча?

Тут Хэтуэй услышал воркование голубей и сразу понял,

что Гарп вовсе не играет в лакросс! Ну конечно, голуби! Он не раз жаловался Гарпу на этих проклятых птиц, которые не давали ему спать своим воркованием и бесконечной возней под карнизом и в водосточном желобе под крутой шиферной крышей. Это действительно была настоящая проблема для тех, кому приходилось спать на четвертом, самом верхнем этаже Стиринг-скул, – казалось, здесь всем правят исключительно голуби. Работники опутали сеткой все свесы крыш и карнизы, но голуби продолжали топтаться в водосточных желобах в сухую погоду, а в дождь находили себе щели под крышей, под карнизами и в узловатых мощных зарослях плюща, вьющегося по стенам. Избавиться от них было совершенно невозможно. А как громко они ворковали! Хэтуэй просто возненавидел этих птиц! Он не раз говорил Гарпу, что, если б у него хоть одна нога была целой, уж он бы до них добрался!

«А как?» – спросил однажды Гарп.

«Ночью они летать не любят, – объяснил Хэтуэй. Он почерпнул эти сведения о привычках голубей из курса биологии; Дженни Филдз, кстати, этот курс тоже прослушала. – И вот ночью, когда нет дождя, я бы забрался на крышу, – продолжал Хэтуэй, – и переловил бы их прямо в водосточном желобе. Они же всю ночь только и делают, что сидят в этом желобе и воркуют, да еще гадят!»

«И как бы ты их переловил? – спросил Гарп. – Руками?»

В ответ Хэтуэй помахал клюшкой для лакросса, в сетке

которой сидел мяч. Он ловко выкатил мяч себе между ног и мягко опустил сетку прямо Гарпу на голову.

«А вот так, – сказал он. – Этой штукой их запросто переловить можно. Одного за другим».

Хэтуэй вспомнил, как восторженно и понимающе улыбнулся ему тогда Гарп, – этот малыш, должно быть, считал своего огромного друга с загипсованными ногами настоящим героем! Хэтуэй выглянул в окно: совсем темно и дождя нет. И Хэтуэй нажал на кнопку вызова сестры.

– Гарп! – простонал он. – О господи, Гарп! – И держал палец на кнопке не отпуская.

Когда Дженни Филдз увидела, что вызов идет с четвертого этажа, она решила, что Гарп принес клюшку назад. Какой хороший мальчик этот Хэтуэй, думала она, поднимаясь на лифте и спеша в палату, на ходу поскрипывая своими добротными туфлями. Она сразу увидела мяч для лакросса у Хэтуэя в руках. И его единственный видимый ей глаз смотрел испуганно.

– Он на крыше, – уверенно сказал Хэтуэй.

– На крыше? – переспросила Дженни.

– Ну да, пытается ловить голубей моей клюшкой для лакросса, – объяснил Хэтуэй.

Взрослый мужчина, стоя на верхней ступеньке пожарной лестницы на высоте четвертого этажа, с трудом мог дотянуться до края водосточного желоба. Когда в Стиринг-скул

чистили желоба – а это случалось либо поздней осенью, когда с деревьев опадали все листья, либо в конце зимы, до начала мощных весенних ливней, – на эту работу посылали только самых высокорослых, поскольку остальные вечно жаловались, что им не видно, что за дрянь валяется в желобах; а там действительно попадались и дохлые голуби, и полуразложившиеся белки, и тому подобная гадость. Так что, не имея возможности заглянуть в желоб, совать туда руки они не спешили. Желоба были почти такие же широкие и глубокие, как корыта для свиней, но, увы, отнюдь не такие же прочные – проржавели от старости. В то время все в Стиринг-скул обветшало.

Когда Дженни Филдз вылезла с четвертого этажа на пожарную лестницу и поднялась по ней, она едва смогла кончиками пальцев дотянуться до водосточного желоба; выше желоба она не видела уже ничего, даже крутой шиферной крыши. Во тьме и в тумане она могла более или менее разглядеть только внешнюю сторону желоба – примерно до ближайшего угла здания. Гарпа она не видела вовсе.

– Гарп? – прошептала она.

Четырьмя этажами ниже, среди кустарника и поблескивающих капотов припаркованных автомобилей, мелькали мальчишки, которые тоже звали малыша.

– Гарп! – окликнула Дженни чуть громче.

– Мам, это ты? – шепотом отозвался он, очень ее испугав, хотя шепот его был совсем тихим.

Голос Гарпа она слышала где-то совсем рядом, но самого мальчика не видела. Потом, всмотревшись во тьму, разглядела на фоне бледной от тумана, тусклой луны клюшку для лакросса с сеткой на конце; ее силуэт был похож на странную сетчатую лапу неведомого ночного зверя; клюшка с сеткой торчала из водосточного желоба почти прямо над нею. Дженни еще немного потянулась вверх и в ужасе нащупала ногу Гарпа, провалившуюся сквозь ржавый желоб, неровный край которого разорвал ему штаны и поранил голень. Сам Гарп лежал в скрипучем ветхом желобе на животе, одна его нога свисала из дыры, а другая была вытянута вдоль кромки крутой шиферной крыши.

Провалившись сквозь желоб, Гарп слишком испугался, чтобы закричать и позвать на помощь. Ему казалось, что проржавевший желоб может рухнуть вместе с крышей даже от звука его голоса. И он лежал, прижавшись щекой к ржавому днищу желоба, и сквозь дырочку наблюдал за ребятами, которые сновали в кустах и на парковочной площадке, искали и звали его. Клюшка, в сетку которой и в самом деле угодил зазевавшийся голубь, упала на край желоба, и птица сумела вырваться на свободу. Но голубь почему-то никуда не улетел, а уселся рядом с Гарпом и, как последний идиот, принялся ворковать.

Дженни бросило в дрожь, когда она поняла, что Гарп никак не мог дотянуться до желоба с пожарной лестницы, а стало быть, взбирался на крышу по плющу, зажав в одной руке

клюшку для лакросса. Она еще крепче ухватила сынишку за ногу. Голая теплая его лодыжка была чуть липкой от крови, но порезы, полученные, когда он провалился сквозь желоб, были, видимо, не слишком глубокими. Все равно нужен укол против столбняка, думала Дженни. Кровь почти высохла, и швы, наверное, накладывать не придется, хотя в темноте ей, конечно, было не разглядеть, насколько серьезно Гарп поранился. Господи, только бы вытащить его оттуда! Свет, падавший из нижних окон, освещал кусты, и с высоты желтые их цветы казались язычками пламени от газовых горелок.

– Ма, – шепотом позвал Гарп.

– Да-да, – прошептала она. – Сейчас я тебя вытащу.

– Не отпускай меня, хорошо?

– Хорошо, – ответила она, и тотчас – словно от звука ее голоса – желоб ощутимо осел и прогнулся.

– Ма! – снова испуганно позвал Гарп.

– Не бойся, все будет хорошо, – сказала Дженни.

А что, если просто дернуть его за ногу, дернуть очень сильно и протащить сквозь прогнивший желоб? – думала она. А вдруг от такого рывка весь желоб оторвется от крыши? Что тогда? Перед ее глазами мелькнуло страшное видение: их обоих сметает с пожарной лестницы и они вместе с грудой ржавого железа летят вниз… С другой стороны, Дженни прекрасно понимала, что никто не сумеет забраться в этот желоб и сперва втащить ее ребенка на крышу, а затем передать ей. Желоб едва держит пятилетнего маль-

чишку; взрослого он точно не выдержит. Но она знала совершенно твердо, что так и будет стоять на пожарной лестнице, крепко держа Гарпа за ногу, пока кто-нибудь не попытается высвободить его из этой ловушки.

Увидела их снизу одна из новеньких медсестер, мисс Грин, и сразу же помчалась за деканом Боджером, вспомнив, что к темной машине декана (на которой он каждую ночь раскатывал по школьному кампусу, высматривая мальчишек, улизнувших на улицу после отбоя) приделана специальная фара-искатель. Невзирая на жалобы садовников, Боджер ездил по всем дорожкам и лужайкам парка, высвечивая этой фарой темные закоулки и густые заросли кустарника возле зданий, что превращало парк при школе в весьма опасное место – как для воров, так и для влюбленных парочек, которым больше некуда было податься.

Кроме того, сестра Грин вызвала и доктора Пелла; в критических ситуациях мысли ее всегда обращались к людям, способным принять на себя командование. Она, правда, не подумала о пожарных – а вот Дженни о них вспомнила, хотя и опасалась, что желоб успеет рухнуть, прежде чем они сюда доберутся. Вдобавок она опасалась, что пожарные заставят ее отпустить ногу Гарпа, чтобы все проделать без ее участия.

Внезапно Дженни увидела у себя перед носом маленькую, насквозь промокшую теннисную туфлю Гарпа, которая возникла в призрачном слепящем свете фары-искателя, и стала внимательно эту туфлю рассматривать. Свет встревожил

голубей, которые, вероятно, не ожидали, что утренняя заря наступит так скоро; впрочем, они, как всегда, с готовностью принялись возиться, скрестись и ворковать.

А внизу, на лужайке, мальчишки в белых больничных пижамах носились как сумасшедшие вокруг машины декана Боджера, чрезвычайно взволнованные всем случившимся и взбодренные решительными приказами декана. Боджер всех учеников называл «мужики». «Эй, мужики! – кричал он. – Разложить матрасы под пожарной лестницей! Живо!» Боджер уже лет двадцать преподавал в Стиринг-скул немецкий, когда его наконец назначили деканом, и его команды звучали как скорострельный пулемет, выплевывающий сплошные немецкие глаголы.

«Мужики» навалили под лестницу матрасы и теперь глазели сквозь ступени пожарной лестницы на освещенную фарой Дженни в безупречно белом медицинском халате. Один из мальчишек стоял, прислонившись к стене здания, прямо под лестницей, и пялился Дженни под юбку, на ее освещенные ноги; это зрелище так заворожило его, что он начисто забыл о трагичности ситуации – просто стоял и не мог оторвать глаз. «Шварц!» – рявкнул на него декан Боджер. Но фамилия мальчишки была Уорнер, и он на окрик не отреагировал, так что декану Боджеру пришлось оттолкнуть его, чтоб прекратить это любование. «Тащи еще матрасы, Шмидт!» – приказал ему Боджер.

А Дженни как раз что-то попало в глаз – то ли кусочек

ржавчины, то ли соринка с дерева, – и, чтобы сохранить равновесие, ей пришлось пошире расставить ноги. Желоб осел еще больше; голубя, которого Гарп поймал, а потом невольно выпустил, так и вышвырнуло из пролома, и он, судорожно махая крыльями, был-таки вынужден совершить короткий и довольно нелепый перелет на безопасный участок крыши. Дженни сперва показалось, что это вовсе не голубь, а падающее вниз тело ее сына; но она, еще крепче сжав ногу Гарпа, убедилась, что мальчик по-прежнему в желобе. Под тяжестью оседавшего желоба с лежащим в нем Гарпом Дженни сперва присела на корточки, а затем сорвалась с верхней ступеньки на следующую и упала, подвернув под себя ногу. Только тут она поняла, что теперь они оба в безопасности – желоб прочно опирался о верхнюю ступеньку, а сама она сидела чуть ниже. И только теперь Дженни решилась наконец отпустить ногу Гарпа. Великолепный синяк – почти полный отпечаток всех ее пальцев – красовался потом на лодыжке Гарпа целую неделю.

Снизу все это выглядело весьма непонятно. Декан Боджер заметил наверху какое-то странное движение, услышал скрежет ржавого железа, увидел, как сестра Филдз упала на следующую ступеньку лестницы и как трехфутовый обломок водосточного желоба рухнул куда-то во тьму. Однако ребенок сверху не падал, только нечто похожее на голубя метнулось сквозь луч света от фары-искателя, но он не смог проследить за полетом птицы, исчезнувшей в ночи. Голубь, на-

до сказать ослепленный ярким светом, ударился о железную боковину пожарной лестницы и свернул себе шею. После чего штопором свалился вниз, словно спустивший футбольный мяч. Упал он довольно далеко от матрасов, которые Боджер приказал разложить на крайний случай, и декан сперва принял маленькое тельце падающей птицы за ребенка.

Вообще-то, декан Боджер был человеком смелым и мужественным. У него было четверо детей, и он всех их воспитал в строгости. А увлечение чисто полицейским патрулированием кампуса мотивировал не столько желанием не давать людям развлекаться, сколько твердым убеждением, что почти любой несчастный случай, а они часто происходят в темноте, можно предотвратить – при наличии известной хитрости и предприимчивости. Боджер, например, не сомневался, что сумеет поймать в воздухе падающего ребенка, поскольку в душе всегда был готов именно к такой ситуации – когда тело одного из учеников летит с темного неба прямо к нему в руки. Декан Боджер, коротко стриженный, мускулистый и большеголовый, телосложением напоминал питбультерьера – такие же маленькие горящие глазки, как у этих собак, с такими же красными веками (и, в общем, напоминавшие свиные). Подобно питбулю, декан Боджер хорошо умел рыть землю и всегда готов был броситься вперед, к поставленной цели, что и сделал, выставив перед собой руки и не сводя глаз с падающего голубя. «Вот я тебя и поймал, сынок!» – воскликнул он, приведя в ужас мальчишек в боль-

ничных пижамах, явно не готовых к такому поведению декана.

Боджер резко нырнул вперед, хватая птицу, которая с такой силой ударилась о его грудь, что даже Боджер оказался не готов к подобному толчку. Несчастный голубь сбил его с ног и повалил на спину. У декана даже дыхание перехватило. Мертвую птицу он крепко сжимал в ладонях, клюв голубя упирался ему в подбородок. И тут один из перепуганных мальчишек догадался направить луч фары-искателя прямо на декана. Увидев, что прижимает к груди мертвую птицу, Боджер отшвырнул голубя, да так, что тот перелетел через головы изумленных ребят на парковочную площадку.

Вскоре в приемном покое изолятора воцарилась жуткая суматоха. Прибывший наконец доктор Пелл немедленно занялся ногой Гарпа – там зияла рваная, хотя и неглубокая рана, которую пришлось здорово почистить, но накладывать швы не потребовалось. Сестра Грин сделала мальчику укол против столбняка, а доктор Пелл извлек кусочек ржавчины из глаза Дженни. Дженни немного потянула спину, пока держала на себе Гарпа вместе с обломком желоба, но, если не считать этого, была в полном порядке. Наконец все вздохнули с облегчением, и только тут Дженни посмотрела Гарпу прямо в глаза. Для всех Гарп был чуть ли не спасенным героем, однако сам он, по всей вероятности, хорошо понимал, что его ждет, когда они с Дженни останутся один на один.

Декан Боджер был одним из немногих в Стиринг-скул, кто

питал добрые чувства к Дженни Филдз. Он отозвал ее в сторонку и сообщил – вполне конфиденциально, – что, если она считает нужным, он готов как следует отчитать Гарпа, если, конечно, такой выговор из уст декана школы окажет более серьезное и длительное воздействие, чем ее собственный нагоняй. Дженни выразила Боджеру свою глубокую признательность, и они договорились о том, какая именно угроза должна произвести на Гарпа наиболее сильное впечатление. После чего Боджер стряхнул с груди голубиные перья и пух, заправил в штаны рубашку, вылезшую из-под ремня и тесного жилета, как крем из пирожного, и неожиданно объявил собравшимся, что желал бы остаться с маленьким Гарпом наедине. Все поспешно убрались из приемного покоя, и Гарп тоже попытался улизнуть следом за Дженни.

– Нет, – остановила его она. – Декан школы хочет поговорить с тобой.

И ушла. Гарп не знал еще, что такое декан школы.

– Твоя мать занята на работе по горло, верно, сынок? – спросил Боджер, когда они остались наедине; Гарп не понял, к чему он клонит, но согласно кивнул. – И она со своей работой справляется очень хорошо, если хочешь знать мое мнение, – продолжал Боджер. – И ей совершенно необходимо, чтобы в рабочее время она могла полностью доверять своему сыну. Ты знаешь, что такое «доверять», а, сынок?

– Нет, – сказал Гарп.

– Это значит – быть всегда уверенной, что ты находишь-

ся там, где, по твоим словам, и должен находиться; что ты никогда не сделаешь того, что не положено. Вот что значит «доверять», мой мальчик. Как ты считаешь, твоя мать может тебе доверять?

– Да, – сказал Гарп.

– Тебе здесь нравится? – спросил Боджер.

От Дженни он прекрасно знал, что мальчишке здесь очень нравится. Она сама предложила ему сыграть именно на этом.

– Да, – сказал Гарп.

– Ты слыхал, как меня ребята зовут? – спросил декан.

– Бешеным Псом? – неуверенно спросил Гарп.

Он слыхал, как ребята в изоляторе называли кого-то Бешеным Псом, а декан Боджер, по мнению Гарпа, смотрелся в данный момент как настоящий бешеный пес. Однако декан очень удивился: у него было много разных кличек, но такой он еще не слыхал.

– Я имел в виду, что ребята обращаются ко мне «сэр», – пояснил Боджер и тут же с удовлетворением отметил, что Гарп – ребенок достаточно впечатлительный: сразу понял, что чем-то человека обидел.

– Да, сэр, – смущенно сказал Гарп.

– Так тебе действительно здесь нравится? – повторил декан свой вопрос.

– Да, сэр, – сказал Гарп.

– Ну так вот: если ты еще раз заберешься на пожарную лестницу, или на крышу, или еще куда-нибудь в этом роде,

то больше ты здесь жить не будешь. Понятно?

– Да, сэр, – сказал Гарп.

– Вот и ладно. Ну, будь хорошим мальчиком и всегда слушайся маму. Иначе тебе придется уехать отсюда далеко-далеко, в чужие края.

Гарпу показалось, что вокруг вдруг стало темно, и он почувствовал себя страшно одиноким – как когда лежал в водосточном желобе, на целых четыре этажа выше того мира, где царят свет и полная безопасность. Он заплакал, но Боджер взял его за подбородок своими короткими толстыми пальцами – большим и указательным, – тихонько покачал его головенкой из стороны в сторону и сказал:

– Никогда больше не огорчай свою мать, мой мальчик. Иначе тебе всю жизнь будет вот так же плохо.

«Бедняга Боджер, конечно же, хотел мне добра, – писал позднее Гарп. – Но *так же* плохо мне было почти всю жизнь, и почти всю жизнь я только тем и занимался, что *огорчал* свою мать. Впрочем, мнение Боджера о том, как на самом деле устроен мир, представляется столь же сомнительным, как и любое другое мнение по этому вопросу».

Гарп имел в виду иллюзию, которую бедняга Боджер питал в старости: ему казалось, что поймал он именно маленького Гарпа, когда тот падал с крыши, а вовсе не голубя. Впрочем, нет сомнений, что на склоне лет свалившийся из желоба голубь наверняка значил для добросердечного Боджера ничуть не меньше, чем маленький Гарп.

Декан Боджер часто воспринимал реальность в несколько искаженном виде. Той ночью, например, декан обнаружил, что кто-то снял с его машины фару-искатель. В ярости он перевернул вверх дном все палаты изолятора, даже те, где лежали заразные больные. «Этот фонарь в один прекрасный день засияет на чьей-то физиономии!» – орал Боджер. Но никто так и не признался. Дженни была уверена, что это Меклер, но доказать ничего не смогла. Декан Боджер уехал домой без своей фары. А дня через два он заболел, подхватив от кого-то грипп, и его стали лечить в изоляторе как амбулаторного пациента. Дженни особенно ему сочувствовала.

Прошло еще четыре дня, прежде чем Боджер случайно заглянул в «бардачок» своей машины. В тот вечер чихающий и сморкающийся декан, как всегда, объезжал кампус, освещая его новой фарой-искателем, как вдруг его остановил новичок-патрульный из группы охраны.

– Господи помилуй, да ведь я здешний декан! – заорал Боджер на дрожащего как осиновый лист юного патрульного.

– Откуда мне это знать, сэр? – отвечал патрульный. – Мне велено никому не разрешать раскатывать тут по дорожкам.

– Вас должны были предупредить, что с деканом Боджером связываться опасно! – еще громче заорал Боджер.

– Да, меня предупреждали, сэр, – робко промямлил патрульный. – Но я же не знаю, что именно вы и есть декан Боджер!

– Ну хорошо, – уже более спокойно сказал Боджер, втайне

весьма довольный такой преданностью патрульного своему долгу. – Я, несомненно, могу доказать, кто я такой.

Тут декан Боджер внезапно вспомнил, что у него просрочено водительское удостоверение, и решил предъявить патрульному свидетельство о регистрации автомобиля. Он полез за документом в «бардачок» и обнаружил там… дохлого голубя!

Итак, Меклер нанес очередной удар, и улик против него опять не было. Голубь оказался почти «свежий», во всяком случае, черви на нем (пока что) не кишели. Зато в «бардачке» кишели вши, сбежавшие с мертвого голубя в поисках нового хозяина. Декан постарался как можно скорее вытащить свидетельство о регистрации и захлопнуть «бардачок», но патрульный не сводил с голубя глаз.

– Мне сказали, они тут стали серьезной проблемой, – заметил патрульный, – повсюду залезают, и вообще…

– Это мальчишки повсюду залезают! – проворчал Боджер. – Голуби в общем-то безвредны, а вот за мальчишками нужен глаз да глаз!

Довольно долгое время, которое показалось Гарпу несправедливо затянувшимся, Дженни буквально глаз с него не спускала. Она действительно все время *следила* за ним, но и понемногу училась ему доверять. И теперь старалась, чтобы Гарп сам доказал ей, что доверять ему можно.

В столь ограниченном людском сообществе, какое представляла собой Стиринг-скул, новости распространялись

быстрее, чем стригущий лишай. История о том, как маленький Гарп забрался на крышу, а его мать даже не знала, что он туда залез, бросала тень подозрения на обоих: ребенок вроде Гарпа может дурно влиять на других детей; мать вроде Дженни недостойна уважения, ибо плохо присматривает за своим сыном. Маленький Гарп, конечно, довольно долго не ощущал никакой дискриминации, но Дженни, которая незамедлительно распознавала дискриминацию (и незамедлительно пресекала любые ее попытки), в очередной раз почувствовала, что люди вокруг сделали ничем не оправданные выводы. Раз пятилетний ребенок был оставлен без присмотра и залез на крышу, значит, она – плохая мать и плохо воспитывает свое дитя. И к тому же этот Гарп – явно странный ребенок.

Мальчик ведь растет без отца, говорили некоторые, а у таких вечно на уме всякие гадости.

«Очень странно, – писал позднее Гарп, – но представление о том, что именно семья в конечном итоге должна убедить человека в его уникальности, моей матери всегда было чуждо. Мать была женщиной практичной; она верила только в реальные факты и в реальные результаты. Например, она верила в Боджера, поскольку то, чем занимался декан, было ей, по крайней мере, понятно. Она верила в конкретную работу: в работу учителя истории, в работу тренера по борьбе и, конечно же, в работу сестры милосердия. Но та семья, которая, собственно, и убедила меня в моей неповторимости, в

моей уникальности, никогда не пользовалась у моей матери уважением. Мать считала, что семья Перси вообще *никогда и ничего* не делает».

В этом убеждении Дженни Филдз была не одинока. Стюарт Перси, хотя имел вполне определенную должность и довольно высокий титул, реально никакой работой не занимался. Он назывался генеральным секретарем попечительского совета Стиринг-скул, однако никто и никогда не видел его, например, печатающим на машинке или хотя бы отдающим распоряжения своей секретарше. Да, конечно же, у него была секретарша, только вот сомнительно, чтобы у нее было что печатать. Некоторое время казалось, что Стюарт Перси имеет связи в Ассоциации выпускников Стиринг-скул, организации достаточно влиятельной – в силу богатства ее членов и кое-каких сентиментальных ностальгических воспоминаний, у них сохранившихся, – чтобы ее высоко ценили в администрации школы. Однако директор по делам выпускников утверждал, что Стюарт Перси слишком непопулярен среди бывших своих однокашников, чтобы от него была хоть какая-нибудь польза. Все эти люди хорошо помнили Перси еще с тех дней, когда учились в Стиринг-скул.

Популярностью среди теперешних учеников школы Перси тоже не пользовался: они подозревали (и не без оснований), что он ни черта не делает.

Стюарт Перси был крупный краснолицый мужчина, с выпяченной бочкообразной грудью, которая на поверку ока-

зывалась всего-навсего приличных размеров животиком – в любую минуту эта браво торчавшая вперед «грудь» могла вдруг опасть, и распахнувшийся твидовый пиджак являл на всеобщее обозрение полосатый галстук цветов Стиринг-скул. «Кровь и синяк» – так именовал эти цвета Гарп.

Стюарт Перси, которого жена нежно называла Стьюи – хотя несколько поколений учеников школы именовали его не иначе как Жирный, – носил какую-то странную, плоскую прическу, аккуратно зачесывая свои волосы цвета «тусклого серебра». Мальчишки говорили, что плоская голова, видимо, напоминает Стюарту палубу авианосца, потому что во время Второй мировой войны Стюарт служил на флоте. Его вклад в учебный процесс Стиринг-скул заключался в единственном предмете, который он и преподавал на протяжении пятнадцати лет – именно этот срок потребовался кафедре истории, чтобы собраться с духом и запретить Стюарту преподавание. Но целых пятнадцать лет он таки приводил всех в полное замешательство. Только самых простодушных новичков и удавалось заманить на занятия, где он читал свой курс под названием «Мое участие в войне на Тихом океане»; этот курс охватывал лишь те морские сражения, в которых Стюарт Перси участвовал лично. Их было всего два. Так что печатного пособия по этому курсу не существовало. Имелись только лекции Стюарта и его личная коллекция слайдов. Слайды были пересняты со старых черно-белых фотографий – в итоге получилось нечто весьма загадочное и в

высшей степени малопонятное. И по меньшей мере одна из этих серий памятных слайдов относилась к увольнению на берег, которое Стюарт провел на Гавайях: тогда-то он и познакомился со своей будущей женой Мидж и вступил с ней в законный брак.

– Имейте в виду, мальчики, она ведь не из местных, – втолковывал Стюарт классу (хотя на сероватом снимке было трудно разглядеть, что она собой представляет). – Она просто приехала на Гавайи погостить, – снова и снова повторял Стюарт, демонстрируя бесконечные слайды, запечатлевшие «замечательные пепельные» волосы Мидж.

Все дети Перси также были белобрысыми, и напрашивалось предположение, что в один прекрасный день их волосы тоже приобретут цвет «тусклого серебра», как и у самого Стюарта, которого во времена Гарпа ученики прозвали Жирным Стью[3] в честь рагу, подававшегося в школьной столовой по меньшей мере раз в неделю. Это рагу готовили из остатков еще другого, тоже практически еженедельно подававшегося блюда, которое именовали «мясным месивом». Только Дженни всегда утверждала, что Стюарт Перси весь сделан из волос цвета пресловутого «тусклого серебра».

Но как бы ни обзывали Стюарта, просто Жирным, или Жирным Рагу, или Жирным Стью, те, кого ему удавалось затащить на свой курс «Мое участие в войне на Тихом океане», навсегда запоминали, что его жена Мидж вовсе не из

[3] Stew (*англ.*) – рагу.

гавайцев, хотя некоторым это приходилось буквально вдалбливать. Но вот о чем знали наиболее смышленые из учеников, а каждый преподаватель и сотрудник Стиринг-скул помнил практически с первого дня (и впоследствии подвергал молчаливому презрению), так это что на Гавайях Стюарт Перси женился не на какой-то Мидж, а на Мидж Стиринг. Она была последней в роду Стирингов. И еще – неофициальной «принцессой» школы, поскольку ни одного директора Стиринг-скул ей в сети не попалось. Что же до Стюарта, то он женился на таких больших деньгах, что совершенно не нуждался в какой-либо карьере – достаточно было оставаться женатым на Мидж.

Отец Дженни Филдз, обувной король, при упоминании о деньгах Мидж Стиринг обычно весь передергивался.

«Мидж всегда была жуткой идиоткой, – писала Дженни Филдз в своей автобиографии. – Это ж надо придумать – поехать отдыхать на Гавайи во время Второй мировой войны! Ну полная идиотка! Да еще умудрилась влюбиться в Стюарта Перси и тут же начала рожать ему одного за другим детей, таких же никчемных, как он сам, и с такими же бесцветными волосами! А ведь, между прочим, еще шла война! Ну а потом, когда война закончилась, она притащила и своего муженька, и всех его многочисленных отпрысков в Стиринг. И потребовала, чтобы школа немедленно дала работу ее несравненному Стьюи!»

«Когда я был мальчишкой, – писал Гарп, – у Перси уже

было трое или четверо маленьких „персиков“ и еще больше – уж не знаю сколько! – на подходе».

По поводу бесчисленных беременностей Мидж Перси Дженни Филдз даже сочинила что-то вроде детской дразнилки:

Что таится у Мидж в ее кругленьком брюшке?
Это вовсе не мяч и вообще не игрушка —
Не волчок и не кукла, а так, ерунда:
Отпрыск Стьюи Великого – как и всегда.

«Моя мать оказалась никуда не годной писательницей, – писал Гарп по поводу автобиографии Дженни. – Но рифмоплетом она была еще более скверным».

Впрочем, в те времена Гарпу было лет пять, так что эти стишки Дженни ему, разумеется, не прочла. И все-таки отчего Дженни так недоброжелательно относилась к Стюарту и Мидж Перси?

Дженни прекрасно знала, что Жирный Стью посматривает на нее свысока. Она никак на это не реагировала, просто всегда держалась начеку. Гарп же постоянно играл с детьми Перси, которым, однако, не разрешалось заходить к Гарпу в гости. «У нас в доме детям гораздо лучше, – как-то сказала Мидж в телефонном разговоре с Дженни. – Я хочу сказать, – добавила она со смешком, – что у нас, по крайней мере, ничем не заразишься!»

Разве что глупостью, подумала Дженни, но в ответ сурово

заметила: «Я прекрасно знаю, где лежат заразные больные, а где – незаразные. И на крыше больше никто не играет».

Если честно, то Дженни отлично знала, что в доме Перси, семейном гнезде Стирингов, детям очень удобно и просторно, там много воздуха, мягкие ковры на полу и полно прекрасных игрушек, собранных несколькими поколениями его обитателей. Это действительно был очень богатый дом. А поскольку о нем заботилось множество слуг, он не оскорблял своим богатством, был очень уютен и даже непритязателен. Эта самая непритязательность, которую семейство Перси могло себе позволить, больше всего и оскорбляла Дженни. Она считала, что ни у Стюарта, ни у Мидж при их невероятном богатстве просто не хватает мозгов, чтобы должным образом заботиться о своих детях; да и детей-то у них было слишком много. Может быть, думала Дженни, когда у тебя так много детей, даже естественно, что ты не уделяешь каждому из них особого внимания?

Когда Гарп играл с детьми Перси, Дженни очень беспокоилась о своем сыне. Она и сама выросла в богатом доме, принадлежавшем людям из высшего общества, и прекрасно понимала, что дети богачей отнюдь не защищены от любых бед каким-то волшебным образом; просто в силу того, что родились в более благоприятных условиях, они чуть крепче других и обладают более устойчивым иммунитетом и обменом веществ. В Стиринг-скул, однако, было немало таких, кто, похоже, свято верил, что уже сама принадлежность к знат-

ному или богатому семейству способна защитить от любых невзгод; ведь чисто внешне все выглядело именно так. Было что-то такое в этих детишках из аристократических семей – прически у них всегда в порядке, кожа чистая, ни царапин, ни синяков, да и выглядели они всегда спокойными и уверенными. Вероятно, думала Дженни, это потому, что им не о чем беспокоиться и они ничего особенного в жизни не желают. Но тут же вспоминала, что ей-то самой удалось вырасти абсолютно непохожей на этих детей.

Ее беспокойство о Гарпе, по правде говоря, основывалось на наблюдениях за детьми Перси. Те вечно носились повсюду без всяких ограничений, словно их мать и вправду верила, что их оберегает некая волшебная сила. Почти альбиносы, с совершенно прозрачной кожей, детишки Перси действительно казались заколдованными, а может, были просто здоровее других детей. И какие бы чувства ни испытывали преподаватели школы и члены их семей по отношению к Жирному Стью, они не могли не признать, что в детях Перси, и даже в самой Мидж, «видна порода». Тут явно работают мощные защитные гены, думали они.

«Моя мать, – писал позднее Гарп, – всегда воевала с теми, кто воспринимал заложенное в генах чересчур серьезно».

Однажды днем Дженни, выглянув в окно, увидела, что ее маленький темноволосый сынишка бежит через лужайку перед изолятором по направлению к школьным зданиям, более

изящным, выкрашенным белой краской, с зелеными ставнями; там же располагался и дом Перси – в самом центре, как старейшая церковь города, полного и других церквей. Некоторое время Дженни наблюдала за Гарпом и стайкой детей, которая следовала за ним. Они стремглав неслись по ровным, совершенно безопасным и тщательно размеченным дорожкам кампуса. Гарп мчался впереди, а вереница неуклюжих, спотыкающихся детишек Перси неслась за ним вместе с другой ребятней.

Среди них был и Кларенс дю Гар, чей папаша преподавал в школе французский и всю зиму держал окна закрытыми, хотя от него так несло пóтом, словно он вообще никогда не моется; был среди этих ребят и Толбот Мейер-Джонс, отец которого куда лучше знал историю всей Америки, чем Стюарт Перси – историю своего участия в войне на Тихом океане; была там и Эмили Гамильтон, у которой было восемь братьев и которая окончит гораздо менее престижную женскую школу всего за год до того, как в Стиринг-скул начнут принимать девочек. Мать Эмили потом покончит жизнь самоубийством, что вовсе не обязательно связано с решением о приеме девочек в Стиринг-скул, но совпало с ним по времени (у Стюарта Перси это вызовет реплику, что решение о допуске в школу девочек способно привести лишь к большему количеству самоубийств). Были там и братья Гроув – Айра и Бадди, «дети из города»; их отец работал в хозяйственном отделе Стиринг-скул, вопрос о приеме их в школу оказался

довольно щекотливым – преподаватели долго решали, можно ли позволить «детям из города» учиться в Стиринг-скул и стоит ли ожидать, что *такие* дети будут здесь достаточно хорошо успевать.

Стоя у окна, Дженни наблюдала за детьми, бегавшими по квадратным ярко-зеленым лужайкам и по дорожкам, залитым свежим асфальтом, среди кирпичных домов, стены которых настолько выгорели на солнце, что теперь мягкой окраской напоминали розовый мрамор. Вместе с детьми, с некоторым беспокойством отметила Дженни, носилась и собака Перси – совершенно безмозглая и уродливая тварь (вообще-то, огромный ньюфаундленд), на протяжении многих лет игнорировавшая городские законы о выгуливании собак только на поводке; эта гнусная псина выставляла напоказ свою безнаказанность точно так же, как семейство Перси – свою непритязательность. Щенком она вечно опрокидывала мусорные баки, рылась в них и обожала воровать бейсбольные мячи.

Однажды этот пес стащил у детей волейбольный мяч и разорвал его – вовсе не по злобе, а просто по глупости: мяч ему был совершенно не нужен. Но когда мальчик, хозяин порванного мяча, попытался извлечь «останки» из огромной пасти, пес разозлился и здорово покусал парнишку, оставив довольно глубокие раны у локтя и на запястье. Будучи медсестрой, Дженни прекрасно понимала, что это отнюдь не случайность, что пес Бонкерс не «просто немного заиграл-

ся, он ведь так любит играть с детьми!» – как заявила Мидж Перси, которая, собственно, и дала собаке это дурацкое имя: Бонкерс. Мидж рассказывала Дженни, что взяла эту собаку вскоре после рождения своего четвертого ребенка. Слово «бонкерс» означает «слегка помешанный», и Мидж сообщила Дженни, что именно таковой она себя ощущает по отношению к Стьюи даже после того, как родила от него четверых детей. «Я всегда была слегка помешана на нем, – сказала Мидж, – вот и собаку так назвала – Бонкерс. Хотела лишний раз подтвердить свои чувства к Стьюи».

«Мидж Перси и точно была не в своем уме, – писала потом Дженни Филдз. – Эта собака была просто убийцей, однако ее защищало типичное для высшего американского общества убогое и бессмысленное утверждение, что дети и домашние животные, воспитанные в аристократическом семействе, никак не могут ни быть чересчур свободными, ни навредить кому-либо этой своей свободой. Другим людям, победнее и попроще, ни в коем случае не дозволяется ни заполонять собою весь мир, ни спускать с поводка своих собак, а вот дети и собаки богачей вправе бегать на свободе».

«Ублюдки из высшего общества» – так впоследствии именовал их Гарп: и собак, и детей.

Даже в те годы он бы вполне согласился с утверждением своей матери, что собака Перси, ньюфаундленд Бонкерс, опасна для окружающих. Ньюфаундленд – собака с густой непромокаемой шерстью, чем-то похожая на сенбернара, ес-

ли того выкрасить в черный цвет, а лапы снабдить перепонками. Обычно ньюфаундленды ленивы и дружелюбны. Но Бонкерс был не такой. Однажды в разгар футбольного матча на лужайке перед домом Перси он вылетел на поле и всеми своими ста семьюдесятью фунтами навалился сзади на пятилетнего Гарпа, а вдобавок откусил ему мочку левого уха и часть ушной раковины. Бонкерс мог бы запросто откусить Гарпу и все ухо, но отличался неспособностью сосредоточиться на чем-то одном. Остальные дети в панике разбежались.

– Бонки кого-то укусил, – сообщил один из юных Перси матери, оттаскивая ее от телефона.

В семействе Перси бытовала привычка добавлять ласкательно-уменьшительный суффикс «и» к именам всех его членов. Таким образом, дети – Стюарт (младший), Рэндольф, Уильям, Кушмен (девочка) и Бейнбридж (еще одна девочка) – превратились в Стьюи-младшего, в Допи, в Писклю Вилли, в Куши и Пух. Бедная Бейнбридж, к имени которой трудно было присобачить «и»; она была последним ребенком в семье и еще носила подгузники; а посему в «изящной» попытке придать ее домашнему имени не просто описательный, но вполне литературный характер она и получила прозвище Пух.

В данный момент именно Куши тащила Мидж за руку, и это она сообщила матери, что «Бонки кого-то укусил».

– Кого на этот раз? – спросил Жирный Стью и схватил ра-

кетку для сквоша, словно намереваясь немедленно во всем разобраться; однако он оказался совершенно не одет, так что именно Мидж, запахнув поплотнее халат, приготовилась стать первым взрослым человеком на месте свершившегося преступления.

Стюарт Перси частенько болтался по дому чуть ли не голым. Причем неизвестно почему. Может быть, чтобы снять напряжение, которое возникало у него, когда он бродил по кампусу при полном параде и совершенно не знал, чем бы заняться. Просто бродил, демонстрируя «тусклое серебро» своей прически. А может быть, он поступал так в силу необходимости – чтобы столь активно плодиться и размножаться, он просто обязан был раздеваться, и довольно часто.

– Бонки укусил Гарпа, – сообщила маленькая Куши Перси.

Ни Стюарт, ни Мидж не успели заметить, что Гарп уже появился в дверях холла. Одна сторона его головы была в крови и казалась совершенно изжеванной.

– Миссис Перси, – прошептал Гарп, но недостаточно громко, и его не услышали.

– Так это был Гарп? – переспросил Стюарт. Наклоняясь, чтобы положить ракетку обратно в шкаф, он сдавил свой жирный живот и пукнул. Мидж быстро глянула на него, но ничего не сказала. – Значит, Бонки укусил Гарпа? – продолжал Стюарт. – Ну что ж, по крайней мере, у этого пса хороший вкус!

– Ох, Стьюи! – воскликнула Мидж и издала короткий смешок, будто плюнула. – Гарп ведь еще совсем маленький.

А маленький Гарп так и стоял, едва не теряя сознание и пятная кровью дорогущий ковер, которым полностью был застелен пол в четырех огромных комнатах первого этажа.

Куши Перси, чья молодая жизнь впоследствии оборвется, когда она попытается вытолкнуть из себя своего первенца, увидела, что Гарп пачкает кровью фамильный ковер, наследие Стирингов, и, выкрикнув: «Жуть!» – выскочила вон.

– Ох, надо бы позвонить твоей матери, – сказала Мидж Гарпу, у которого в голове стоял звон от собачьего лая и рычания.

Долгие годы Гарп так и будет ошибочно считать, что крик Куши «Жуть!» относился вовсе не к его изуродованному и окровавленному уху, а к огромному серовато-бледному и абсолютно обнаженному телу ее отца, которое, казалось, заполняло собой весь холл. Именно это и могло быть «жутко», с точки зрения Гарпа: здоровенный мужик, бывший моряк, с животом точно пивная бочка и совершенно голый наступал на него из глубины холла от вздымавшейся вверх винтовой лестницы.

Стюарт Перси опустился перед Гарпом на колени, с любопытством глядя на окровавленное лицо мальчика. При этом смотрел он вроде бы совсем и не на изгрызенное псом ухо, Гарп даже подумал, не надо ли указать этому голому мужику, где именно у него рана. Но Стюарт Перси действитель-

но смотрел не на укус. Он смотрел в блестящие карие глаза Гарпа, изучал их цвет и разрез и при этом что-то бормотал, словно убеждая себя в только что открытой истине, потом утвердительно кивнул и сообщил своей глупой светловолосой Мидж:

– Джап!

Пройдет немало лет, прежде чем Гарп поймет и это. А Стюарт Перси продолжал доказывать жене:

– Я достаточно времени провел на Тихом океане, чтобы с ходу распознать джапские глаза. Говорю тебе, он был японцем!

Под словом «он» Стюарт Перси имел в виду человека, который, как он полагал, был отцом Гарпа. В Стиринг-скул игра-угадайка «кто отец Гарпа» пользовалась большой популярностью. И вот теперь Стюарт Перси, основываясь на своем опыте войны на Тихом океане, решил, что отцом Гарпа был японец.

«А в тот момент, – писал позднее Гарп, – я решил, что слово „джап“ означает, что у меня больше нет уха».

– Звать его мамашу нет смысла, – сказал Стюарт жене. – Просто отведи его в изолятор. Она же медсестра, верно? Она лучше знает, что надо делать.

Что надо делать, Дженни действительно знала.

– Вам бы надо привести сюда собаку, – сказала она Мидж, тщательно промывая то, что осталось от уха Гарпа.

– Бонкерса? – спросила Мидж.

– Приведите его сюда, – сказала Дженни. – Я сделаю ему укол.

– Инъекцию? – спросила Мидж и засмеялась. – Вы хотите сказать, что после вашего укола он больше никого кусать не будет?

– Нет, – спокойно ответила Дженни. – Я хочу сказать, что таким образом вы можете сэкономить на ветеринаре. Я имела в виду укол, после которого пес сдохнет. Существуют такие инъекции, знаете ли. И тогда он уж точно больше никого не укусит.

«Вот так, – писал позднее Гарп, – и начались наши „Персидские“ войны. Для моей матери, как мне кажется, они носили классовый характер; впрочем, как она заявляла впоследствии, все войны – так или иначе классовые. Ну а я просто четко усвоил, что Бонкерса следует опасаться. Да и всех остальных Перси тоже».

Стюарт Перси направил Дженни Филдз меморандум, напечатанный на официальном бланке Стиринг-скул. «Я не могу поверить, – писал он, – что вы действительно хотите усыпить Бонкерса!»

– Можем поспорить на вашу жирную задницу, что именно этого я и хочу, – ответила ему Дженни по телефону. – Или пусть он, по крайней мере, отныне и навсегда сидит на привязи.

– Какой же смысл держать собаку и не позволять ей побегать на свободе? – заметил Стюарт.

– Тогда усыпите его, – сказала Дженни.

– Бонкерс уже получил все необходимые инъекции, но все равно – спасибо за предложение, – сказал Стюарт. – Бонкерс ведь очень добрый, право! И только если его раздразнить…

«По всей видимости, – писал позднее Гарп, – наш Жирный Стью полагал, что Бонкерса „раздразнила“ моя „японистость“».

– А что такое «хороший вкус»? – спросил через некоторое время у Дженни маленький Гарп.

В изоляторе, где доктор Пелл как раз зашивал ему ухо, Дженни напомнила доктору, что Гарпу недавно уже делали укол от столбняка, и повернулась к сыну.

– Хороший вкус? – переспросила она, внимательно на него глядя.

Надо сказать, что искалеченное ухо вынудило Гарпа отныне постоянно носить длинные волосы, а он эту прическу не любил и часто жаловался на свои «патлы».

– Ну да, Жирный Стью сказал, что у Бонкерса хороший вкус, – повторил Гарп.

– И потому, значит, он и укусил тебя? – уточнила Дженни.

– Наверное, – сказал Гарп. – Так что это значит?

Дженни прекрасно знала что. Но ответила:

– Это значит, что Бонкерс, видимо, понимал, что ты самый вкусный мальчик из всей вашей компании.

– А я вправду вкусный? – спросил Гарп.

– Конечно, – уверенно ответила Дженни.

– А Бонкерсу откуда это известно?

– Вот этого я не знаю, – призналась Дженни.

– А что такое «джап»? – спросил Гарп.

– Это Жирный Стью тебя так называл? – спросила его Дженни.

– Нет, – ответил Гарп. – Думаю, он сказал это про мое ухо.

– А, ну конечно про твое ухо! – согласилась Дженни. – Это просто значит, что ушки у тебя особенные.

Однако она уже всерьез подумывала, не сказать ли сыну прямо сейчас, что́ она думает об этих Перси, или же он, будучи достаточно похож на нее, сумеет сам во всем разобраться некоторое время спустя и дать выход своему гневу не без выгоды для себя, ибо, во-первых, приобретет ни с чем не сравнимый опыт, а во-вторых, это может произойти в более важный момент его жизни. Возможно, думала она, лучше приберечь свои размышления до той поры, когда Гарп сможет ими воспользоваться. Дженни всегда считала, что впереди их ждет еще немало сражений, и куда более крупных.

«Моя мать как будто нуждалась во врагах, – писал позднее Гарп. – Реальные или воображаемые, враги эти помогали ей понять, как она должна себя вести и как должна воспитывать меня. Материнство не было у нее инстинктом. Честно говоря, моя мать, по-моему, вообще сомневалась в том, что человеку хоть что-либо дается естественным путем. Она всегда была до предела застенчивой и осмотрительной».

Вот так мир, который был своим для Жирного Стью, стал

враждебным для Дженни, и случилось это уже в первые годы жизни Гарпа; начался этап, который можно назвать «подготовкой Гарпа к поступлению в Стиринг-скул».

Дженни наблюдала, как у сына отрастают волосы, постепенно скрывая его искалеченное ухо, и удивлялась, насколько он хорош собой, ведь мужская красота никогда не была определяющим фактором в ее отношениях с техником-сержантом Гарпом. Даже если техник-сержант и был очень недурен, то Дженни этого толком не заметила. Но юный Гарп оказался мальчиком действительно красивым, этого она не могла не видеть, хотя и оставался маленьким, словно родился специально для того, чтобы ему было удобно в поворотной башенке бомбардировщика.

Малышня, носившаяся по дорожкам Стиринг-скул, квадратным зеленым лужайкам и игровым площадкам, менялась на глазах; дети, взрослея, становились все более застенчивыми и неуклюжими. Кларенсу дю Гару вскоре потребовались очки, которые он вечно разбивал; за эти годы Дженни неоднократно приходилось лечить его простуженные уши, а однажды – сломанный нос. Толбот Мейер-Джонс вдруг начал шепелявить; фигурой он напоминал бутылку, зато отличался добрым нравом, но, к сожалению, страдал небольшим хроническим синуситом. Эмили Гамильтон так вытянулась, что без конца спотыкалась, и ее локти и коленки от бесконечных падений вечно были в ссадинах и кровоточили, а когда у нее появились маленькие груди, которыми она чрезвычайно

гордилась, Дженни иногда с грустью думала: жаль, что у меня нет дочери. У Айры и Бадди Гроувов, «детей из города», были толстые коленки, широкие запястья и мощные шеи, а пальцы всегда в грязи и ссадинах, потому что оба они вечно отирались в хозяйственном отделе, которым командовал их отец. Подрастали и дети Перси, бесцветно-блондинистые и какие-то металлически-чистые; глаза и волосы у них были цвета тусклого льда на солоноватой Стиринг-ривер, что протекала через солончаковые болота к недалекому морю.

Стюарт-младший окончил Стиринг еще раньше, чем Гарп туда поступил; Дженни дважды его лечила: один раз он растянул щиколотку, а в другой раз подцепил триппер. Позднее ему предстояли и другие испытания: курс в Гарвардской школе бизнеса, курс лечения от стафилококковой инфекции и развод.

Рэндольфа Перси именовали Допи[4] до самой смерти (от сердечного приступа, ему тогда было всего тридцать пять; он оказался таким же плодовитым, как и его жирный папаша, и произвел на свет пятерых отпрысков). Допи так и не сумел получить аттестат в Стиринг-скул, однако успешно перевелся в какую-то другую приготовительную школу и через некоторое время ее окончил. А как-то в воскресенье вдруг раздался пронзительный крик Мидж: «Наш Допи умер!» В этих обстоятельствах дурацкая кличка прозвучала столь ужасно, что вся семья с тех пор называла покойника исключительно

[4] Dopey (*англ.*) – полусонный, одурманенный.

Рэндольфом.

Уильям Перси, он же Пискля Вилли, надо отдать ему должное, всегда стеснялся своего прозвища и, хотя был на три года старше Гарпа, относился к нему дружески, притом что был старшеклассником, а Гарп только еще поступил в школу. Дженни этот мальчик всегда нравился, и она звала его только Уильям. Она много раз лечила его от бронхитов и была страшно огорчена, узнав, что он погиб на войне (сразу по окончании Йельского университета); она даже послала письмо с соболезнованиями Мидж и Жирному Стью.

Что же касается девочек, то Куши Перси впоследствии добилась своего (и Гарп сыграл в этом известную роль, хотя и небольшую; они с Куши были почти ровесники). А бедняжка Бейнбридж, самая младшая из детей Перси, получившая издевательскую кличку Пух, снова встретилась с Гарпом, когда он был уже на пике своей писательской карьеры.

Все эти дети, и Гарп вместе с ними, взрослели у Дженни на глазах. Дженни дожидалась, когда Гарп дорастет до Стиринга, а черный монстр Бонкерс меж тем состарился и едва ходил, но зубов своих, как замечала Дженни, не растерял. И Гарп по-прежнему его остерегался, даже когда Бонкерс перестал бегать за ребятами, а всего лишь прятался в тени возле белых колонн у входа – весь в космах отросшей, спутанной шерсти, похожий в темноте на куст терновника. Гарп все равно глаз с него не спускал. А вот ученики младших классов, особенно новички, не раз подходили к псу чересчур близко,

и тот пускал в ход свои зубы. Дженни вела строгий учет всех наложенных швов и откушенных «частей тела», за которые был в ответе этот проклятый пес, но Жирный Стью игнорировал любые критические замечания Дженни, и Бонкерс продолжал бесчинствовать.

«Мне кажется, мать в итоге просто жить не могла без этой собаки, хотя никогда бы в этом не призналась даже себе самой, – писал Гарп. – Бонкерс стал для нее таким же врагом, как все семейство Перси, этаким сгустком враждебной энергии, воплощенной в мощных мышцах, длинной шерсти и отвратительном запахе. Похоже, мама с радостью наблюдала, как эта собака стареет, а я подрастаю».

Когда Гарп был готов к поступлению в Стиринг-скул, Бонкерсу стукнуло четырнадцать. А когда Гарп поступил в школу, у Дженни Филдз появилось уже и несколько собственных волос цвета «тусклого серебра». Она к этому времени успела уже прослушать все стоящие курсы и составила их перечень в порядке, так сказать, универсальной ценности и развлекательности. Когда Гарп учился в Стиринг-скул, Дженни получила подарок, обычный для преподавателей и штатных сотрудников школы, сумевших протянуть в ней пятнадцать лет, – знаменитые стиринговские обеденные тарелки. На донышках этих тарелок были изображены и богато изукрашены цветами скучные кирпичные здания школы, включая пристройку с изолятором. В общем, те же старые добрые «кровь и синяк».

Глава III
Кем он хотел бы стать, когда вырастет

В 1781 году вдова и дети Эверетта Стиринга основали Стиринг-скул, вернее, «Частное учебное заведение Стиринга», как она сперва называлась, поскольку, разрезая последнего в своей жизни рождественского гуся, Эверетт Стиринг объявил своему семейству, что его огорчает только одно: он не учредил в родном городе частной школы, способной подготовить его мальчиков к поступлению в университет. Дочерей своих он даже не упомянул. Он был судостроителем в городишке, который связывала с морем обреченная на обмеление река. И Эверетт знал, что и город тоже обречен. Человек суровый, обычно не склонный к шуткам и играм, в тот последний рождественский вечер он вдруг принялся увлеченно играть в снежки со своими многочисленными детьми, а в итоге получил апоплексический удар и скончался еще до наступления ночи. Ему было семьдесят два, так что даже его «мальчики и девочки» были, пожалуй, староваты, чтобы играть в снежки с таким восторгом и упоением. Однако он имел полное право называть Стиринг *своим* городом.

Местные жители назвали город в его честь в порыве энтузиазма, вслед за провозглашением независимости. Во время

Гражданской войны Эверетт Стиринг организовал доставку орудий на конной тяге и их установку в стратегически важных пунктах по берегу реки; орудия предназначались для отражения атаки, которой так и не последовало, – атаки британских войск, которые, как ожидалось, должны были подняться вверх по реке со стороны моря, от Грейт-Бэй. Река называлась Грейт-ривер, но по окончании войны ее переименовали в Стиринг-ривер, а городишко, вообще не имевший названия – его звали просто «медоуз», луга, поскольку он лежал в низине меж соленых и пресноводных болот в нескольких милях от Грейт-Бэй, – тоже окрестили Стирингом.

Многие семьи в Стиринге были связаны с судостроением и иными видами бизнеса, пришедшими сюда с моря по реке; городишко издавна служил для Грейт-Бэй дополнительным портом. Но, уведомив семейство о своем желании основать частное учебное заведение для мальчиков, Эверетт Стиринг вдобавок сообщил, что портом Стирингу недолго оставаться. Река, как он заметил, скоро окончательно обмелеет из-за наносного ила.

За всю свою жизнь Эверетт Стиринг пошутил один-единственный раз, да и то лишь в кругу семьи. Шутка сводилась к тому, что единственная река, которую назвали его именем, полна ила и грязи, и чем дальше, тем этой грязи все больше. Вокруг до самого моря тянулись сплошные болота и низменные луга, и если горожане не примут решения сохранить Стиринг в качестве порта и не углубят русло реки, то скоро

даже гребной лодке будет очень непросто пройти от Стиринга до Грейт-Бэй (разве что при очень уж высоком приливе). Эверетт понимал, что когда-нибудь приливная волна дойдет и до его дома, и до Атлантического океана.

В следующем столетии у семейства Стиринг хватило ума перевести свои финансовые средства из судостроения в текстильную промышленность – фабрику, функционировавшую благодаря использованию силы течения Стиринг-ривер. Ко времени Гражданской войны единственным предприятием в городе было «Стиринг-миллз». Семейство, таким образом, переметнулось от кораблей и лодок к тряпкам.

Другое семейство стирингских судостроителей оказалось не столь удачливым. Последний корабль, построенный на их верфи, сумел одолеть только полпути от Стиринга до моря. На когда-то печально знаменитом участке реки, который называли Кишка, последний построенный в Стиринге корабль навеки увяз в грязи; его еще многие годы было видно с дороги – наполовину залитый водой в прилив и практически целиком выступающий из воды при отливе. Дети играли на нем, пока он не рухнул набок, задавив при этом чью-то собаку. Фермер-свиновод по фамилии Гилмор сумел вытащить из грязи мачты упавшего корабля и соорудил из них сарай. К тому времени, когда юный Гарп начал учиться в Стиринг-скул, школьная гребная команда могла гонять по реке на своих «шеллах»[5] только при высоком приливе. В отлив

[5] «Шелл» – восьмивесельная гоночная лодка (*англ.*).

же Стиринг-ривер превращалась в сплошной поток жидкой грязи от Стиринга до самого моря.

Так что частная мужская школа в Стиринге была основана в 1781 году благодаря инстинктивной догадке Эверетта о судьбе реки. А примерно столетие спустя Стиринг-скул начала процветать и стала знаменитой.

«Однако, – писал позднее Гарп, – с годами хитроумные стиринговские гены оказались слишком сильно разбавлены другими генами; „речные инстинкты“, некогда превосходные, в итоге сошли на нет». Гарп предпочитал упоминать о Мидж Стиринг-Перси именно в таком контексте: «Она как раз из тех Стирингов, чьи „речные“ инстинкты сбились с пути». Гарп считал истинной иронией судьбы, что «гены Стирингов с заложенным в них „речным“ инстинктом растеряли все нужные хромосомы, пока добрались до Мидж. Ее „чувство воды“, – писал он, – оказалось столь извращенным, что сперва повлекло ее на Гавайи, а затем прибило к Военно-морским силам США – точнее, к Жирному Стью».

Мидж Стиринг-Перси была последней в роду. После ее смерти только название Стиринг-скул напоминало о династии Стирингов; старик Эверетт, возможно, предвидел и это. Впрочем, многие знатные семейства не оставили после себя даже такого наследия, а многие оставили и кое-что похуже. Во времена Гарпа Стиринг-скул, по крайней мере, еще сохраняла упорную преданность поставленной задаче – «подготовке мальчиков к поступлению в университет», как гово-

рил старый Стиринг. Что же касается Гарпа, то его мать имела аналогичную цель и относилась к ней не менее серьезно. Сам Гарп тоже относился к школе настолько серьезно, что даже Эверетт Стиринг с его единственной за всю жизнь шуткой был бы им доволен.

Гарп заранее знал, на какие курсы и к каким конкретно преподавателям стоит записаться. Собственно, зачастую именно это и определяет, насколько успешно учится тот или иной ученик. Гарп способностями не блистал, но обладал четкой направленностью; многие из выбранных им предметов хорошо знала и помнила Дженни, а уж погонять сына она умела прекрасно. Как и его мать, Гарп, вероятно от природы, не питал склонности к интеллектуальным занятиям, зато отличался чрезвычайной дисциплинированностью, тоже унаследованной от Дженни; настоящая медсестра ведь просто обязана поддерживать строжайшую дисциплину. К тому же Гарп очень доверял своей матери.

Если Дженни что-то и упустила, столь пристально опекая сына, то лишь в одном плане: она никогда не придавала особого значения спорту и ничего не могла посоветовать Гарпу в этом отношении. Зато она могла подсказать ему, что курс лекций по истории культур Восточной Азии, который вел мистер Меррил, понравится ему значительно больше, чем курс «Англия при Тюдорах», который читал мистер Лэнгдел. Но Дженни понятия не имела о том, какова разница между

обычным футболом и американским, и не представляла себе ни тех восторгов, ни тех огорчений, которые может принести каждая из этих игр. Она видела, что ее сын невелик ростом, однако достаточно силен и ловок, что у него быстрая реакция и что шумным играм он предпочитает одиночество. И решила, что Гарп сам разберется, какая из спортивных игр ему по душе. А как раз в этом-то он разобраться никак и не мог.

Командные игры, по его мнению, были сплошной глупостью. Грести в лодке, стараясь работать веслом в унисон с другими, то есть как раб на галере, макать идиотское весло в тухлую воду – ничего глупее просто не придумаешь, тем более что вода в Стиринг-ривер и впрямь воняла тухлятиной и там в изобилии плавали промышленные отходы и человеческое дерьмо, а после каждого отлива на берегах оставались еще и горы морской слизи (мерзость, напоминавшая замороженный свиной жир). Река Эверетта Стиринга была полна всякой дряни, но даже если бы в ней текла кристально чистая вода, все равно гребец из Гарпа был никудышный. И теннисист тоже. В одном из своих первых сочинений – в первый год учебы в Стиринге – Гарп писал: «Не люблю играть с мячом. Мяч словно мешает спортсмену выполнять спортивное упражнение. То же самое можно сказать и о шайбах для хоккея, и о воланах для бадминтона; а коньки и лыжи совершенно определенно становятся преградой между телом спортсмена и землей. И спортсмен как бы отдаляется от своей цели

в состязании – ему мешают всякие ракетки, клюшки, мячи и т. п., – теряет не только чистоту движения, но и свои силы, и свое внимание». Судя по приведенной цитате, Гарп даже в пятнадцать лет уже обладал вполне заметным собственным эстетическим чувством.

Поскольку для европейского футбола он был маловат, а американский футбол тоже не обходился без мяча, он начал бегать на длинные дистанции, что здесь называли «кроссом», но слишком часто попадал в лужи и вечно страдал от простуды.

Когда открылся зимний спортивный сезон, Дженни была очень огорчена тем, как неуверенно ощущает себя Гарп, и даже начала было ругать его за то, что он никак не может сделать элементарный выбор и решить, какой вид спорта ему больше всего подходит. Но Гарпу спорт вовсе не казался ни отдыхом, ни развлечением. Он вообще пока не нашел для себя такого занятия, которое давало бы ему ощущение отдыха. С самого начала он, казалось, знал, что ему суждено заниматься лишь вещами серьезными, требующими большого напряжения сил. («Писатели не читают для собственного удовольствия», – писал впоследствии Гарп, имея в виду себя.) Еще до того, как юный Гарп понял, что хочет стать писателем, он, похоже, ничего не делал «просто для удовольствия».

В тот день, когда Гарпу предстояло расписаться в графике занятий зимними видами спорта, он сидел в заключении – в

изоляторе. Дженни даже с постели ему встать не разрешила.

– Все равно ведь не знаешь, чем тебе заняться, – заявила она ему; и Гарпу оставалось только послушно лежать в постели и кашлять. – Неужели ты настолько глуп, – сердито продолжала Дженни, – что, прожив пятнадцать лет в этой гнусной школе, до сих пор не додумался, во что тебе играть на спортивной площадке?!

– Но мне спорт вообще не нравится, мам, – просипел Гарп. – Хотя все равно надо что-то выбрать…

– А зачем? – спросила Дженни.

– Не знаю!!! – простонал он. И снова закашлялся.

– Господи помилуй! – воскликнула Дженни. – Ну ладно, я сама выберу, чем тебе заниматься. Прямо сейчас пойду в спорткомплекс и запишу тебя в какую-нибудь спортивную секцию.

– Нет! – заорал Гарп.

И тут Дженни произнесла то, что – за четыре года в Стиринг-скул – стало для Гарпа аксиомой:

– Я ведь знаю больше, чем ты, верно?

– Верно, но сейчас дело совсем не в этом, мам! – воскликнул Гарп в полном отчаянии. – Конечно, ты прослушала почти все здешние курсы, но ты же никогда не играла ни в одной команде! Ты вообще спортом никогда не занималась!

Если Дженни Филдз и признала в душе, что на сей раз ее сын совершенно прав, то вслух она этого не сказала. И, не желая отступать от намеченной цели, собралась уходить.

Стоял типичный для здешних мест декабрьский денек, земля превратилась в поблескивающую на морозе слякоть, а выпавший снежок был совершенно серый, затоптанный грязными башмаками восьми сотен мальчишек. Дженни Филдз закуталась потеплее и потащилась через мрачный зимний кампус, убежденная, что поступает так исключительно ради блага своего сына. Посмотреть на нее – точь-в-точь сестра милосердия, которая безропотно идет на передовую, неся сражающимся на русском фронте солдатам хоть маленькую надежду на победу и спасение. Именно с таким выражением лица она и появилась в спорткомплексе Стиринг-скул. За все пятнадцать лет, проведенные в этой школе, здесь она не была ни разу: считала ненужным. В дальнем конце кампуса, окруженный несколькими акрами спортплощадок, катков и теннисных кортов, высился спорткомплекс, похожий на срез улья. На фоне грязного снега он показался Дженни грозным противником, ибо битву она уже предвкушала. И сердце ее наполнилось горечью и беспокойством.

Школьный спорткомплекс, а также стадион, несколько хоккейных площадок и катков носили имя Майлса Сибрука – знаменитого спортсмена и летчика-аса времен Первой мировой войны; его лицо и массивный торс приветствовали Дженни с фотографического триптиха, размещенного в стеклянном шкафу у входа в спорткомплекс. Майлс Сибрук на фото 1909 года был в кожаном футбольном шлеме и никому не нужных в данный момент наплечниках. Под

фото бывшего номера 32 лежала его футболка, от времени превратившаяся практически в мятую тряпку, выцветшую и траченную молью; футболка красовалась в закрытом шкафу для спортивных трофеев прямо под первой из фотографий Майлса, с подписью: «Настоящая футболка М. Сибрука».

Центральное фото триптиха демонстрировало Майлса Сибрука в роли хоккейного вратаря. В те далекие времена вратари тоже надевали защитные доспехи, но масок не носили, так что смелое лицо героя было хорошо видно: глаза вызывающе сверкают, лоб и щеки все в шрамах. Огромное тело Майлса, казалось, заполняло собой хоккейные ворота, казавшиеся удивительно маленькими. Разве мог кто-нибудь забить шайбу в ворота, когда там стоял Майлс Сибрук, у которого по-кошачьи ловкие руки в кожаных рукавицах (отчего они напоминают лапы медведя), огромная клюшка и толстенный нагрудник, а его гигантские коньки подобны челюстям гигантского муравьеда? Под футбольным и хоккейным снимками висели таблицы с результатами самых крупных ежегодных школьных соревнований по всем тем видам спорта, которые были популярны в Стиринг-скул; каждый сезон традиционно кончался матчем с командой Бат-скул, почти такой же старой и знаменитой частной школы, как Стиринг-скул. Команда Бата была основным соперником команды Стиринга. Однако парни из Бат-скул в своей гнусной, зеленой с золотом, форме (во времена Гарпа эти цвета называли «блевонтин с детской неожиданностью») не могли

устоять перед спортсменами Стиринга. «Стиринг – Бат: 7–6», «Стиринг – Бат: 3–0»… Никто не мог забить гол в ворота Майлса!

Капитан Майлс Сибрук (именно так гласила подпись под третьим фото) был одет в слишком хорошо знакомую Дженни Филдз форму. Это был летный костюм, она тут же его узнала, хотя некоторые детали и успели измениться между двумя мировыми войнами; она узнала и отделанный овчиной воротник летной куртки, кокетливо поднятый вверх, и самоуверенно не застегнутый летный шлем, и отвернутые назад наушники (у Майлса Сибрука уши никогда не мерзнут!), и летные очки, небрежно сдвинутые на лоб. На шее у Майлса красовался белоснежный шарф. Под этой фотографией не было таблицы с финальным счетом, но если бы у кого-нибудь из преподавателей физкультуры в Стиринге хватило чувства юмора, то Дженни наверняка бы прочитала: «США – Германия: 16 – 1». Шестнадцать самолетов противника сбил Майлс Сибрук, прежде чем немцы сумели-таки «забить гол» и ему!

Ордена и медали лежали на пыльной полке в шкафу для спортивных трофеев, словно подношения на алтарь Майлса Сибрука. Лежал там и какой-то исковерканный кусок дерева, который Дженни приняла за обломок сбитого самолета (она была готова увидеть здесь любую безвкусицу), но оказалось, это обломок его последней хоккейной клюшки. А по-

чему в таком случае они не выставили здесь его «ракушку»?[6] Или локон его волос, как это делают в память об умершем ребенке? Волосы Майлса на всех трех фото были закрыты – шлемом, шапочкой, огромным полосатым носком. А может, с легким презрением подумала Дженни, Майлс Сибрук вообще был лысый?

Дженни терпеть не могла подобных выставок, этаких «проявлений уважения» к покойному. Тоже мне уважение – нелепые пыльные реликвии в застекленном шкафу! Этот воин и спортсмен просто несколько раз сменил свою форму. И каждый раз форма давала его телу лишь видимость защиты: за пятнадцать лет работы медсестрой в Стиринг-скул Дженни Филдз достаточно насмотрелась на самые различные травмы и увечья, полученные во время футбольных и хоккейных матчей, несмотря на все эти шлемы, маски, «ракушки», нагрудники, наплечники и прочее. А ранения сержанта Гарпа и многих других доказали Дженни, что солдат на войне вообще ни от чего защищен быть не может.

Она устало двинулась дальше. Миновала застекленные шкафы с трофеями и почувствовала, что приближается к двигателю какой-то опасной и шумной машины. Старательно обходя стороной все те залы, откуда доносились крики и вопли соревнующихся, Дженни держалась полутемных коридоров, где, как она полагала, размещались кабинеты преподавателей. Неужели я провела в этом аду пятнадцать лет,

---

[6] «Ракушка» – защитный футляр для гениталий у спортсменов.

чтобы отдать сюда своего единственного ребенка? – думала она.

Она сразу узнала этот запах: дезинфицирующий раствор. Здесь десятилетиями мыли и скребли полы и стены, однако Дженни не сомневалась: спорткомплекс – как раз такое место, где всякие чудовищные микробы только и ждут своего часа, чтобы начать безудержно размножаться. Знакомый запах напомнил ей больницу и изолятор Стиринг-скул; примерно так пахло в хирургическом отделении, еще не проветренном после операции. Впрочем, в этом огромном комплексе, построенном в память о Майлсе Сибруке, запах дезинфекции был немного другим – столь же неприятным для Дженни Филдз, как и запах секса. Комплекс и спортплощадки вокруг были построены еще в 1919 году, без малого за год до появления Дженни на свет, и чуяла она сейчас скопившуюся почти за сорок лет мешанину запахов дезинфекции, пота и невольно выпущенных кишечных газов – запах состязания, яростного, жестокого, полного разочарований. Дженни все это было совершенно чуждо, спорт и спортивные соревнования обошли ее стороной.

В дальнем коридоре, находившемся в стороне от центральных залов спорткомплекса, Дженни остановилась и прислушалась. Где-то рядом тренировались штангисты: она слышала грохот падающих на пол штанг и страшные стоны тяжелоатлетов, до предела напрягавших свои грыжи, – у Дженни был чисто медицинский взгляд на подобные упраж-

нения. Ей даже казалось, что само здание стонет и напрягается, словно все ученики Стиринг-скул, мучаясь запорами, пришли искать спасения в этом ужасном спорткомплексе.

Дженни Филдз была явно не в своей тарелке, так чувствует себя очень осторожный человек, столкнувшись с результатами собственной ошибки.

В этот момент на нее буквально налетел окровавленный борец. Этот мальчик, едва стоявший на ногах, застиг ее врасплох, внезапно выскочив из двери, за которой виднелось небольшое и совершенно безобидное на вид помещение; перед ней вдруг возникло потное лицо борца – спутанные волосы, защитные наушники сбились набок, так что подбородочный ремешок попал в рот, расплющив верхнюю губу, отчего лицо стало похоже на ухмыляющуюся рыбью морду; чашечка на ремешке, которая поддерживала нижнюю челюсть, съехала и была полна крови, текущей из разбитого носа.

Будучи медсестрой, Дженни не слишком разволновалась при виде крови, но вся съежилась, ожидая столкновения с огромным, мокрым, разгоряченным схваткой парнем, который ухитрился как-то ее обойти, нырнув вбок, и его тут же вырвало – прямо на второго борца, пытавшегося его поддержать.

– Извините, – пробулькал он: мальчики в Стиринг-скул были хорошо воспитаны.

Приятель помог бедняге, стащив с него наушники, чтобы он не захлебнулся рвотой, а потом, не обращая ни малейшего

внимания на собственный непрезентабельный вид, громко крикнул в открытую дверь борцовского зала:

– Карлайла наизнанку вывернуло!

Из двери зала тянуло теплом, и Дженни невольно подошла поближе – так тропический жар оранжереи манит порой серым холодным зимним днем. Она услышала четкий мужской голос:

– Карлайл, ты, между прочим, сегодня два раза просил добавки за ланчем! Слышишь? Чтобы проиграть, тебе, милый, хватило бы и одной! Да и она бы потом обратно пошла! Ну что ж, Карлайл, у меня ты сочувствия не дождешься!

Карлайл, обойденный сочувствием, тяжело двинулся дальше по коридору, капая кровью и шатаясь как пьяный. Добравшись до очередной закрытой двери, он открыл ее и исчез. Его приятель, который, по мнению Дженни, также не заслуживал ни малейшего сочувствия, бросил шлем и ремешок Карлайла на пол в коридоре, рядом с мерзкой расплывающейся лужей и следом за Карлайлом прошел в раздевалку. Дженни очень надеялась, что там он вымоется и переоденется.

Она глянула на распахнутую дверь борцовского зала, набрала в легкие побольше воздуха и решительно шагнула внутрь. И тут же чуть не упала. Под ногами было что-то мягкое, как плоть, а стена почему-то прогнулась, стоило на нее опереться. Дженни очутилась в очень странном помещении – маты на полу, маты на стенах, мягкие и податливые, а во-

круг такая духота и так воняет потом, что она чуть не задохнулась.

– Закройте дверь! – раздался довольно высокий мужской голос, ведь борцы, как позднее узнала Дженни, обожают жару и запах собственного пота, особенно если им надо сбросить вес; они только тогда и чувствуют, что живут полной жизнью, когда полы и стены пышут жаром и податливы, как задница спящей девчонки.

Дженни закрыла дверь, тоже обитую матом, и прислонилась к нему, воображая, что потом кто-нибудь откроет дверь снаружи и милосердно освободит ее. Обладатель высокого голоса оказался тренером. Не обращая внимания на убийственную жару, он нервно расхаживал вдоль длинной стены зала и, прищурившись, наблюдал за своими борцами.

– Тридцать секунд! – крикнул он.

Противники на матах тут же задергались, словно их ударило электрическим током, и сплелись самым неестественным образом в тугие узлы, причем, на взгляд Дженни, их усилия и намерения были столь же решительными, сколь и безнадежными – точь-в-точь неудачная попытка изнасилования.

– Пятнадцать секунд! – крикнул тренер. – Работайте!

Ближайшая к Дженни пара вдруг распалась – руки и ноги расплелись, вены на шеях и руках вздулись от напряжения. Один из борцов исторг сдавленный крик и струйку слюны, когда соперник вырвался из его захвата, и оба они отлетели

к обитым матами стенам.

– Время! – крикнул тренер.

Свистком он не пользовался. Все борцы как-то внезапно обмякли и медленно расцепились. Человек шесть побрели в сторону Дженни, к двери. Они жаждали напиться воды и глотнуть свежего воздуха, но Дженни казалось, что они стремятся в холл – просто проблеваться или тихо-мирно истечь кровью где-нибудь в уголке.

Дженни и тренер единственные в зале стояли неподвижно. Дженни отметила, что тренер – мужчина опрятный, небольшого роста, крепкий и внутренне напряженный, как сжатая пружина. Она также заметила, что он почти слеп, потому что, щурясь, он пялился в ее сторону, видимо понимая, что это белое пятно не имеет с борцами ничего общего. Потом он принялся искать свои очки, которые обычно прятал за верхним стенным матом как можно выше – там их вряд ли мог бы раздавить кто-то из борцов, отброшенных к стене. Тренер был примерно ровесником Дженни. И она до сих пор не встречала этого человека ни в школе, ни в кампусе – ни в очках, ни без оных.

Тренер действительно появился в Стиринге недавно. Звали его Эрни Холм, и он уже успел прийти к выводу, что общество в Стиринг-скул чрезвычайно гнусное, – в этом их с Дженни оценки полностью совпадали. Эрни Холм дважды входил в десятку лучших борцов университета Айовы, но так и не смог добиться звания чемпиона страны и уже пятна-

дцать лет работал тренером в разных школах штата Айова, в одиночку воспитывая свою единственную дочь. По его словам, Средний Запад в итоге ему до смерти надоел, и он перебрался на Восточное побережье, желая обеспечить дочери «классное» образование (также по его собственным словам). Он без конца повторял, что дочка – мозговой центр их семьи; а Дженни заметила, что девочка очень хороша собой и, видимо, очень похожа на мать, о которой Эрни Холм не произнес ни слова.

Пятнадцатилетняя Хелен Холм чуть ли не с рождения часа по три в день торчала в борцовских залах – и в Айове, и в Стиринге, глядя, как парни разного роста и комплекции потеют и мучают друг друга. Много лет спустя Хелен скажет, что именно детство, проведенное в борцовских залах, где она была единственной девочкой, превратило ее в заядлого читателя. «Мое воспитание вполне могло бы превратить меня в патологического зрителя, – скажет Хелен. – Или хуже того – в этакого наблюдателя-извращенца».

Однако она так увлеклась чтением, что Эрни Холм, в общем-то, и на Восток решил перебраться исключительно ради нее. Он устроился тренером в Стиринг-скул, поскольку в его контракте было сказано, что дети преподавателей и обслуживающего персонала могут бесплатно посещать любые занятия или же получить соответствующую денежную компенсацию, позволяющую учиться в другой частной школе. Сам Эрни Холм читать не особенно любил, потому и проглядел

тот пункт в контракте, где говорилось, что в Стиринг-скул принимают только мальчиков.

Вот так холодной осенью он приехал в неуютный Стиринг, и его умненькой способной дочке в очередной раз пришлось поступить в очередную маленькую и скверную государственную школу. Собственно, государственная школа в Стиринге была еще хуже, чем бóльшая часть обычных государственных школ, поскольку все умненькие мальчики в городе поступали в Стиринг-скул, а умненькие девочки уезжали из этого отвратительного городишки куда-нибудь еще. Эрни Холму даже в голову не приходило отсылать дочь куда-нибудь еще; он и переехал именно ради того, чтобы они оставались вместе. Так что, пока Эрни Холм привыкал к своим новым обязанностям в Стиринге, Хелен Холм болталась по огромной территории школы, с аппетитом поглощая книжные запасы магазина и школьной библиотеки (и, несомненно, слушая рассказы о другой, столь же заядлой читательнице – Дженни Филдз). А самое главное – как и в Айове, Хелен по-прежнему скучала среди одноклассниц в скучной государственной школе.

Эрни Холм хорошо понимал, чем людям грозит скука. Шестнадцать лет назад он женился на медсестре, и после рождения Хелен его жена бросила работу, решив быть только матерью. Но через полгода она заскучала и снова захотела стать медсестрой, однако в Айове в те годы не было детских яслей, так что пришлось ей сидеть дома с Хелен. И молодая

жена Эрни Холма все больше охладевала к своей материнской доле и страстно жаждала не только забот по дому, но и другой работы. И однажды просто ушла. Причем бросила и мужа, и маленькую дочь, не оставив никаких объяснений.

Так что Хелен Холм росла в борцовских залах, совершенно, правда, безопасных для детей, поскольку там повсюду мягкие маты и всегда тепло. Книги помогали ей справиться со скукой, хотя Эрни Холм все же беспокоился: надолго ли хватит девочке прилежания и усердия, если она по-прежнему будет существовать в некоем вакууме. Эрни полагал, что склонность к скуке заложена у его дочери на генетическом уровне.

Вот так Эрни Холм попал в Стиринг. Вот так Хелен, которая тоже носила очки, почти столь же необходимые ей, как и ее отцу, оказалась вместе с отцом в борцовском зале, когда туда вошла Дженни Филдз. Дженни не заметила Хелен; ее вообще редко кто замечал, пока ей было всего пятнадцать. Хелен же заметила Дженни сразу; Хелен, в отличие от отца, не занималась борьбой и не демонстрировала мальчикам разные захваты и повороты, так что очки держала все время при себе.

Хелен Холм всегда очень интересовали медсестры, потому что среди них она постоянно высматривала свою исчезнувшую мать, которую ее отец, Эрни, даже не пытался разыскивать. В своих отношениях с женщинами Эрни Холм давно привык практически в любом ответе слышать «нет». Но ко-

гда Хелен была маленькой, Эрни потчевал ее весьма сомнительной сказочкой, которую рассказывал довольно часто и с удовольствием. И Хелен действительно была заинтригована. «В один прекрасный день, – рассказывал отец, – ты увидишь симпатичную медсестру, у которой будет такой вид, словно она не понимает, где она находится. И эта медсестра посмотрит на тебя внимательно – как если бы она не знала, кто ты такая, но очень хочет это узнать…»

«И это будет моя мама?» – спрашивала маленькая Хелен.

«И это будет твоя мама!» – отвечал Эрни.

Так что, подняв глаза от книги, Хелен Холм, сидевшая в уголке борцовского зала Стиринг-скул, решила, что этот миг настал и перед ней ее мать. Дженни Филдз, в своем белом медицинском халате почти везде выглядевшая неуместно, здесь, на фоне ярко-красных матов, казалась чуть ли не красавицей – темноволосая, пышущая здоровьем, сильная, замечательная женщина, – и Хелен Холм, должно быть, подумала, что никакая другая женщина не смогла бы так спокойно войти в этот ад с мягкими полами, где трудился ее отец. Очки у Хелен тут же запотели, она захлопнула книгу, встала и неуклюже прислонилась к стене борцовского зала – обычная девочка в обычном сером спортивном костюме, скрывавшем ее не успевшую еще толком сформироваться фигуру – худенькие бедра и маленькие груди. Затаив дыхание, она ждала, когда же отец узнает гостью.

Но Эрни Холм все никак не мог отыскать свои очки; он,

правда, видел какую-то расплывчатую белую фигуру, вроде бы женскую, может быть, медсестру, и сердце его вдруг прыгнуло в груди, поверив в возможность того, во что он на самом деле никогда не верил: в возвращение жены, в то, как она скажет: «Ох, как же я без вас соскучилась!» Да и какая другая медсестра могла зайти к нему, в борцовский зал?

Хелен видела, как взволнованный отец судорожно ищет очки, и приняла это за желанный знак. Она шагнула навстречу Дженни по кроваво-красным матам, и Дженни подумала: «Господи, это же девочка! Прелестная девочка в очках. Интересно, что такая хорошенькая девочка может здесь делать?»

– Мам? – обратилась девочка к Дженни. – Это я, мам! Хелен! – воскликнула она и залилась слезами. Потом бросилась Дженни на грудь и прижалась к ней мокрым лицом, обхватив за плечи своими тоненькими, совсем еще детскими руками.

– Господи Исусе! – воскликнула Дженни Филдз, которая не любила, чтобы к ней прикасались.

И все же она была профессиональной сестрой милосердия и, наверное, почувствовала боль и тоску, измучившие Хелен. Она не оттолкнула девочку, хотя прекрасно знала, что она ей не мать. Дженни Филдз считала, что матерью вполне достаточно стать один раз. Она лишь погладила плачущую девочку по спине и вопросительно посмотрела на тренера, как раз отыскавшего свои очки.

– Я и не ее, и не ваша мать тоже, – вежливо сказала ему

Дженни, потому что он смотрел на нее с таким же выражением внезапного облегчения и зачарованности, какое было на лице прелестной девочки.

А Эрни Холм думал о том, что между этой медсестрой и его сбежавшей женой и вправду есть сходство. И объединяет их нечто более глубокое, чем сестринская форма и визит в борцовский зал, хотя Дженни была не такая красавица, как его бывшая жена; даже пятнадцать лет, думал Эрни, не смогли бы превратить его супругу в милую и заурядную женщину вроде Дженни. И все же, по мнению Эрни Холма, Дженни выглядела вполне привлекательной, так что он улыбнулся ей неуверенной и виноватой улыбкой, какую привыкли видеть его ученики, проигрывая схватку на ковре.

– Моя дочь решила, что вы ее мать, – сказал Эрни Холм Дженни. – Ведь она давненько ее не видела.

Ну, это-то понятно, подумала Дженни. Она почувствовала, как девочка напряглась в ее объятиях и тихонько выскользнула из ее рук.

– Это вовсе не мама, детка, – сказал Эрни Холм.

Но Хелен уже снова отошла в дальний угол зала; она была девочка с характером и никогда не любила демонстрировать свои переживания даже перед отцом.

– А вам что же, показалось, будто я ваша жена? – спросила Дженни, почти уверенная, что на миг Эрни тоже принял ее за другую женщину. И подумала: «Интересно, сколько же времени девочка не видела свою мать?»

– Да, на минутку, – застенчиво улыбнулся Эрни; улыбался он редко.

Хелен скорчилась в дальнем углу, свирепо посматривая на Дженни, словно та была виновата в постигшем ее разочаровании. А Дженни была искренне тронута; давно миновала та пора, когда Гарп вот так бросался ей на грудь, и даже такой строгой матери, как Дженни, недоставало ощущения доверчиво прильнувшего к ней детского тела.

– Как тебя зовут? – ласково спросила она Хелен. – Меня – Дженни Филдз.

Это имя Хелен Холм уже слышала и знала, что так зовут самую заядлую читательницу в Стиринг-скул. Хелен, по натуре довольно замкнутая, раньше никому не показывала своей тоски по матери. И хотя сейчас, в зале, столь бурное проявление этих чувств явилось чистой случайностью, Хелен почти не жалела о своем порыве, особенно когда услышала имя Дженни Филдз. На лице у девочки появилась такая же, как у отца, смущенная улыбка, она с благодарностью смотрела на Дженни и чувствовала себя очень странно – ей вдруг захотелось снова броситься Дженни на грудь, но она сдержалась. Мимо пробегали борцы, возвращавшиеся от фонтанчика с питьевой водой; одни напились вдоволь и тяжело отдувались, другие же, кому было велено сбрасывать вес, лишь прополоскали рот.

– Тренировка окончена, – объявил Холм, взмахом руки распуская своих подопечных. – На сегодня хватит. Ступайте

на беговую дорожку.

Ребята покорно, даже с облегчением, устремились обратно к двери, унося свое снаряжение – спортивные костюмы, шлемы, магнитофонные бобины. Эрни Холм ждал, пока зал опустеет, а его дочь и Дженни Филдз ждали от него объяснений. Он понимал, что должен дать хоть какие-то объяснения, а это ему легче всего было сделать здесь, в зале, где он чувствовал себя наиболее уверенно. Ему казалось, что здесь самое подходящее место, чтобы рассказать даже такую странную, не имеющую конца историю, как у него, причем даже совершенно незнакомому человеку. Так что, когда зал опустел, Эрни терпеливо начал рассказ о своей жизни вдвоем с дочерью после того, как его жена, тоже медсестра между прочим, бросила их; рассказал он и о Среднем Западе, откуда они только что приехали. Эту историю Дженни вполне могла оценить по достоинству, ведь впервые в жизни ей встретился отец-одиночка с ребенком. И хотя у нее самой на миг тоже возникло искушение рассказать им историю своей жизни – в ней так много сходных моментов, но много и различий, – Дженни все-таки предпочла повторить стандартную версию: отцом Гарпа был солдат, он погиб и так далее. А кто думает о свадьбах, когда идет война? И при всей своей неполноте история ее определенно понравилась и Хелен, и Эрни, которые не видели в Стиринг-скул никого столь же восприимчивого и открытого, как Дженни.

Так они и сидели в жарко натопленном красном борцов-

ском зале, на мягких спортивных матах среди обитых мягкими матами стен. В такой обстановке между людьми иной раз возникает внезапная и необъяснимая близость.

Конечно же, Хелен на всю жизнь запомнила эту первую встречу с Дженни, хотя ее горячее чувство к этой женщине мало-помалу претерпело некоторые изменения, причем в худшую сторону. Но тогда, в борцовском зале, Дженни Филдз казалась Хелен куда более родной, чем ее собственная мать. Дженни тоже запомнила, какое чувство испытываешь, когда тебя обнимают как родную мать, и даже отметила в своей автобиографии, что объятия дочери существенно отличаются от объятий сына. Хотя по меньшей мере забавно, что столь важное открытие она сделала на основании того единственного случая, который имел место декабрьским днем в огромном спортивном комплексе, носившем имя Майлса Сибрука.

Беда, если бы Эрни Холм почувствовал, что его влечет к Дженни Филдз, если бы хоть на минуту вообразил, что это еще одна женщина, с которой он мог бы связать свою судьбу, – ведь сама Дженни была очень далека от подобных чувств. Ей Эрни Холм показался милым, добрым человеком, и только; возможно – она очень на это надеялась, – они подружатся. И тогда он будет ее первым другом.

Эрни и Хелен, должно быть, очень удивились, когда Дженни спросила, нельзя ли ей на минутку остаться в зале одной. Зачем это ей? – видимо, недоумевали они. Тут только Эр-

ни спохватился и наконец спросил Дженни, зачем она, собственно, пришла.

– Чтобы записать сына в секцию борьбы, – быстро ответила Дженни. Она надеялась, что Гарп одобрит ее выбор.

– Конечно-конечно, – сказал Эрни, – оставайтесь, только не забудьте потом выключить свет и все электрокамины. А дверь просто захлопните.

Оставшись одна, Дженни выключила свет и камины, слушая, как ее постепенно окутывает тишина. В темноте, но при настежь распахнутой двери она сняла туфли и походила по мату босиком. Борьба – явно очень агрессивный вид спорта, размышляла она. Но почему же я чувствую себя в этом зале так хорошо и спокойно? Неужели из-за него? Но мысль об Эрни быстро исчезла – подумаешь, маленький, аккуратный и мускулистый очкарик. Если Дженни вообще думала о мужчинах – а она о них почти никогда не думала, – то всегда приходила к выводу, что для нее наиболее приемлемы малорослые и достаточно опрятные; к тому же она предпочитала, чтобы у мужчин – да и у женщин тоже – была хорошо развитая мускулатура; ей нравились сильные люди. А люди в очках нравились ей так, как они нравятся тому, кто очков не носит, а очкариков считает «милыми и беспомощными». Нет, решила Дженни, пожалуй, все дело в самом этом зале; красном, огромном, обитом матами. Она вдруг с глухим стуком упала на колени, просто чтобы проверить, достаточно ли мягко маты примут ее. Потом ловко сделала обратный ку-

вырок и порвала себе при этом платье. А потом уселась по-турецки и стала смотреть на крупного парня, возникшего в дверном проеме. Это был Карлайл, тот, что в коридоре выблевал весь свой ланч. Он уже переоделся в чистое и явился за дальнейшими взысканиями. Застыв в дверях, он с изумлением уставился на Дженни в белом медицинском облачении на фоне алых матов; надо сказать, в эти минуты она смахивала на медведицу в логове.

– Извините, мэм, – сказал он, – я просто искал, с кем бы потренироваться.

– Ну, только не со мной, – ответила Дженни. – Ступайте на беговую дорожку!

– Да, мэм, – сказал Карлайл и ретировался.

Выйдя в коридор и захлопнув дверь, Дженни вспомнила, что туфли ее остались внутри. Уборщик не сумел отыскать нужный ключ, зато предложил ей на время огромные мужские кеды, которые нашлись среди забытых вещей в кладовке. Дженни потащилась в них по замерзшей грязи к себе в изолятор, отчетливо сознавая, что первый выход в мир спорта привел к весьма существенным переменам в ее душе.

Гарп по-прежнему лежал в постели и без конца кашлял.

– Борьба! – прокаркал он. – Господи, мам, ты что, хочешь, чтоб меня там пришибли?

– Думаю, тренер тебе понравится, – сказала Дженни. – Я с ним познакомилась. Приятный человек. И с дочерью его я тоже познакомилась.

– О господи! – застонал Гарп. – Дочь тоже занимается борьбой?!

– Нет. Она много читает, – одобрительно сказала Дженни.

– Звучит завлекательно, – сказал Гарп. – А ты понимаешь, что связь с дочерью тренера по борьбе может стоить мне жизни? Тебе это надо?

Дженни ничего такого вовсе не имела в виду. Она действительно думала только о борцовском зале и об Эрни Холме, а к Хелен испытывала чисто материнские чувства, и, когда ее грубый юный сын предположил возможность своего романа с Хелен Холм, Дженни несколько всполошилась. Раньше она никогда даже не задумывалась о том, что ее сын может кем-то заинтересоваться в таком плане; она отчего-то решила, что он еще долго ни к кому не проявит подобного интереса. Его реплика чрезвычайно ее встревожила, и в ответ она только пробормотала:

– Тебе ведь всего-навсего пятнадцать, не забывай.

– Ну, допустим. А дочери-то его сколько лет? – спросил Гарп. – И как ее зовут?

– Хелен. Ей тоже всего пятнадцать. И она носит очки! – лицемерно добавила Дженни. В конце концов, она-то сама относилась к людям в очках очень хорошо; может, и Гарпу они тоже нравятся? – Они из Айовы приехали, – добавила она и прямо-таки почувствовала себя еще более гнусным снобом, чем ненавистные денди из числа учеников Стиринг-скул.

– Секция борьбы, господи, за что? – снова застонал Гарп, и Дженни облегченно вздохнула: он, кажется, забыл о Хелен.

Дженни сама себе удивлялась: как же сильно ей, оказывается, претит возможный «роман» сына с этой девочкой. Девочка, конечно, прелестная, думала она, хотя и неброская; а ведь парни обычно увлекаются броскими девушками. Неужели мне будет приятнее, если Гарп заинтересуется именно такой?

Что касается «именно таких», то Дженни давно уже присматривалась к Куши Перси – пожалуй, слишком дерзкая на язык и чересчур расхлябанная. И похоже, уже в пятнадцать лет порода Перси проявилась в Куши чрезвычайно ярко. Потом Дженни даже обругала себя за это слово «порода».

Для нее это был нелегкий день. Она устала и прилегла вздремнуть. Ее наконец перестал тревожить кашель сына, потому что, видимо, впереди его могут ждать и куда более серьезные проблемы. Причем именно тогда, когда мы наконец-то обрели дом и полностью свободны ото всех, думала Дженни. Придется, видимо, с кем-то обсудить мальчишечьи проблемы – может быть, с Эрни Холмом; она надеялась, что не ошиблась насчет его порядочности и доброты.

Как выяснилось, Дженни была права насчет ощущения покоя и комфорта, которое дает борцовский зал; то же самое почувствовал в нем и Гарп. Понравился мальчику и Эрни Холм. В первый год занятий борьбой Гарп работал очень активно и был вполне счастлив, разучивая разные приемы и

захваты. И хотя регулярно получал изрядную трепку от ребят своей весовой категории – более опытных членов школьной команды, – никогда не жаловался. Он уже понял, что нашел свой вид спорта и лучшую для себя форму отдыха; борьба еще долго будет забирать бóльшую часть его энергии, пока дело не дойдет до писательства. Ему нравились поединки и грозные очертания борцовского ринга; нравились почти невыносимые нагрузки на тренировках и постоянная сосредоточенность на том, чтобы не набрать лишний вес. И в тот первый год его занятий борьбой Дженни тоже вздохнула с облегчением: Гарп крайне редко упоминал о Хелен, которая по-прежнему сидела в уголке – в очках, в сером спортивном костюме – и читала. Иногда она все же поднимала глаза – когда слышался особенно громкий удар тела о мат или вопль боли.

А в тот раз именно Хелен принесла в пристройку Дженнины туфли. Дженни была так смущена, что даже не пригласила девочку зайти. Ведь они обе уже чувствовали какую-то особую близость, но в комнате был Гарп, а знакомить их Дженни не хотела. Кроме того, Гарп был простужен.

Однажды в борцовском зале Гарп сел рядом с Хелен. Он чувствовал, что на шее у него зреет прыщ, что он весь мокрый от пота, но у Хелен запотели очки, и Гарп сомневался, что она и строчки-то в своей книге видит нормально.

– А ты много читаешь! – заметил он.

– Не так много, как твоя мать, – ответила Хелен, не под-

нимая глаз.

Спустя еще два месяца Гарп сказал Хелен:

– Ты себе все глаза испортишь, если будешь читать в такой жарище.

Она посмотрела на него – очки ее на сей раз были совершенно чистыми и так увеличивали ее и без того огромные глаза, что он был просто потрясен.

– У меня глаза уже давно испорчены, – сказала она. – Я родилась с испорченными глазами.

Но Гарпу ее глаза показались очень красивыми – до того красивыми, что он не нашелся, что еще ей сказать.

Потом борцовский сезон закончился. Гарп перешел из младших классов в старшие и записался в секцию легкой атлетики, без всякого энтузиазма выбрав себе летний вид спорта. Он и так был в отличной спортивной форме после борцовских тренировок и запросто пробегал милю; он занял третье место в командном забеге Стиринг-скул на этой дистанции, но выше этого не поднимался уже никогда. На финише Гарп чувствовал себя так, словно только-только начинает забег. («Уже тогда я стал писателем, – писал Гарп годы спустя. – Но только пока еще этого не понимал».) Занимался он также метанием копья, но метал его не очень далеко.

Метанием копья занимались в Стиринге на поле за футбольным стадионом, где ребята бóльшую часть времени тратили на то, что подкалывали копьями лягушек. Позади стадиона имени Сибрука тянулись пресноводные верховья Сти-

ринг-ривер, здесь было утеряно немало копий и перебито немало лягушек. Весна – скверный сезон, думал Гарп, который не находил себе места, скучая по борцовскому залу, – если уж нет тренировок по борьбе, тогда пусть поскорее наступает лето. С такими мыслями он совершал забеги на длинные дистанции по дороге к побережью, к Догз-Хэд-Харбор.

Однажды он заметил Хелен Холм, сидевшую в полном одиночестве с книгой на самом верхнем ряду пустого стадиона Сибрука. Он взобрался по ступеням наверх, постукивая копьем по бетонным стенкам, чтобы не напугать ее и не появиться перед нею совершенно внезапно. Но она не напугалась. Она неделями наблюдала за ним и другими ребятами.

– Ну что, много маленьких беззащитных тварей убил? – поинтересовалась Хелен. – Теперь на других охотишься?

«Хелен всегда, с ранней юности, прекрасно умела выбрать нужное слово», – писал позднее Гарп.

– Ты так много читаешь, что, наверное, станешь писательницей, – сказал Гарп; он старался говорить непринужденно, однако виновато прикрыл ногой наконечник своего копья.

– Никогда в жизни, – сказала Хелен. У нее в этом сомнений не было.

– Ну тогда, может, выйдешь замуж за писателя, – сказал Гарп.

Она подняла глаза и очень серьезно на него посмотрела.

Новые, только что прописанные доктором противосолнечные очки больше подходили к ее широкоскулому лицу,

чем прежние, вечно сползавшие на кончик носа.

– Если я за кого и выйду, то за писателя, – сказала Хелен. – Только я сомневаюсь, что вообще выйду замуж.

Гарп-то пытался шутить, и серьезность Хелен привела его в замешательство.

– Ну, – сказал он, – в одном я уверен точно: замуж за борца ты не выйдешь.

– В этом ты можешь быть совершенно уверен, – сказала Хелен. Вероятно, в эту минуту Гарп не сумел напустить на себя достаточно равнодушный вид, потому что Хелен тут же прибавила: – Разве что борец будет заодно и писателем.

– Но прежде всего писателем, – предположил Гарп.

– Да, но настоящим писателем, – загадочно сказала Хелен, готовая, впрочем, тут же разъяснить, что она имела в виду.

Впрочем, Гарп спросить не осмелился. И ушел, оставив ее читать книгу.

Вниз по ступенькам стадиона он брел почему-то очень долго, волоча за собой копье. Интересно, она когда-нибудь носит что-нибудь еще, кроме серого спортивного костюма? – думал он. Позднее Гарп писал, что впервые обнаружил у себя богатое воображение именно тогда, когда попытался представить себе тело Хелен. «Поскольку она вечно ходила в этом треклятом спортивном костюме, – писал он, – мне пришлось вообразить себе ее тело; другого способа увидеть его просто не было». Воображение подсказало тогда Гарпу, что тело у Хелен очень красивое, – и ни в одном из своих произведений

он не говорит, что был разочарован, когда наконец увидел его наяву.

Именно в тот день, на пустом стадионе, где он стоял с перепачканным лягушачьей кровью копьем, Хелен Холм впервые разбудила его воображение. И Т. С. Гарп решил, что станет писателем. Причем *настоящим писателем* – как сказала Хелен.

Глава IV
Окончание школы

Последние два года, проведенные в старших классах Стиринг-скул, Т. С. Гарп писал примерно по рассказу в месяц, но прошло не меньше года, прежде чем он решился показать кое-что из написанного Хелен Холм. Просидев целый год в спортзале, где ее отец тренировал юных борцов, Хелен наконец поступила в частную женскую школу Толбота, и теперь Гарп виделся с нею лишь изредка, по выходным. Иной раз Хелен заходила посмотреть на школьные соревнования по борьбе, и после одного из состязаний Гарп попросил ее подождать, пока он примет душ и приведет себя в порядок, потому что, сказал он, у него в раздевалке кое-что для нее приготовлено.

– Надо же, – сказала Хелен. – Хочешь подарить мне свои старые налокотники?

В тренировочный зал она больше не заходила, даже когда приезжала домой на каникулы. Теперь она носила темно-зеленые гольфы и серую фланелевую юбку в складку; свитер у нее чаще всего был под цвет гольфов, но всегда темный и одноцветный; длинные темные волосы Хелен обычно заплетала в косу и тщательно закалывала на макушке в пучок. Рот у нее был довольно большой, хотя губы тонкие; губной по-

мадой она никогда не пользовалась, и от нее всегда хорошо пахло, однако Гарп пока ни разу не посмел к ней прикоснуться. И не представлял, что к ней вообще кто-то прикасался; она была такая тоненькая и высокая, как молодое деревце, – выше Гарпа дюйма на два, если не больше. Лицо у нее было худенькое, остроскулое, и порой казалось чуть ли не болезненным, но огромные медово-карие глаза за стеклами очков всегда смотрели мягко и ласково.

– Это твои старые борцовские туфли? – спросила Хелен, глядя на большой и пухлый запечатанный конверт.

– Это тебе прочитать надо, – буркнул Гарп.

– Мне много чего прочитать надо, – в тон ему ответила Хелен.

– Но это мое. Это я написал, – пояснил Гарп.

– Надо же! – сказала Хелен.

– Тебе не обязательно читать это прямо сейчас, – сказал Гарп. – Можешь, например, взять с собой, а потом написать мне…

– Мне много чего написать надо, – не сдавалась Хелен. – У меня куча письменных работ не сдана.

– Тогда, может, поговорим об этом позже? – предложил Гарп. – Ты на Пасху приедешь?

– Да, но у меня на этот день уже свидание назначено, – ответила Хелен.

– Надо же, – пробормотал Гарп и протянул руку, чтобы забрать свой пакет.

Но она не отдавала! Так вцепилась, что даже костяшки пальцев побелели.

В тот год Гарп закончил борцовский сезон с общим результатом двенадцать побед при одном поражении в своей весовой категории до 133 фунтов, проиграв только в финале чемпионата Новой Англии. А в свой последний школьный год он стал победителем во всех матчах, был избран капитаном команды и по итогам голосования получил титул Самого Ценного Борца и выиграл звание чемпиона Новой Англии. С тех пор команда Стиринг-скул под руководством Эрни Холма почти двадцать лет доминировала в состязаниях борцов Новой Англии. В этой части страны у Эрни Холма было то, что он называл «преимуществом Айовы». После ухода Эрни работа борцовской секции в Стиринг-скул пошла на спад. А поскольку Гарп стал первой из многих звезд Стиринга, Эрни навсегда сохранил к нему особое отношение.

Хелен ко всему этому, казалось, проявляла полное безразличие. Она, конечно, радовалась, когда побеждала команда отца, поскольку в такие дни ее отец был счастлив. Но в последний год учебы Гарпа в Стиринге, особенно когда он стал капитаном школьной команды, Хелен не пришла ни на один поединок. Она, правда, отослала назад из Толбота рассказ Гарпа, приложив к нему собственное письмо следующего содержания:

Дорогой Гарп!

В этом рассказе безусловно что-то есть, но я думаю, что пока ты все-таки скорее борец, чем писатель. Чувствуется, что ты тщательно поработал над выбором слов и сильно продвинулся в понимании людских характеров и судеб, однако ситуация, описанная в рассказе, представляется все же несколько искусственной, а конец, извини меня, совершенно детский. Тем не менее я высоко ценю твое доверие. Было очень приятно, что ты показал свою работу именно мне.

Твоя Хелен

В писательской карьере Гарпа, конечно же, были и куда более жесткие оценки его творчества, однако ни одна из рецензий никогда не значила для него столько, сколько эта. Хелен, вообще-то, отнеслась к его произведению очень мягко. В рассказе, что Гарп дал ей прочесть, речь шла о двух юных влюбленных, которых убил на кладбище отец девушки, принявший их за грабителей. Влюбленных похоронили, разумеется, рядышком, но вскоре по какой-то непонятной причине их могилы были осквернены. Что произошло дальше с отцом девушки, так и осталось покрыто мраком неизвестности; о судьбе же злодеев и вовсе не было ни слова.

Дженни честно сказала Гарпу, что первые его произведения слишком далеки от реальной действительности, зато Гарп пользовался поддержкой преподавателя английской литературы – человека, более всех в Стиринге близкого к писательству, тощего, хрупкого заики по фамилии Тинч. У ми-

стера Тинча отвратительно пахло изо рта (и Гарп каждый раз вспоминал ту гнусную вонь, что исходила из пасти Бонкерса), однако говорил Тинч весьма неглупые вещи и всячески стимулировал воображение Гарпа. Именно он научил Гарпа пользоваться исключительно доброй старой грамматикой и привил ему любовь к точному выбору слов. Во времена Гарпа мальчишки в Стиринге придумали Тинчу кличку Вонючка и вечно подкладывали ему записки насчет дурного запаха изо рта, оставляли у него на столе пузырьки с полосканием и регулярно посылали по почте зубные щетки.

Когда к карте «Литературная Англия» приклеили очередную пачку мятной жвачки, мистер Тинч напрямик спросил своих учеников: правда ли, что у него так дурно пахнет изо рта? Класс замер, а Тинч выбрал Гарпа, которого больше всех любил и которому больше всех доверял, и спросил:

– Гарп, как в-в-вы полагаете, у м-м-меня действительно изо рта плохо п-п-пахнет?

Правда в тот весенний день витала в воздухе, вплывая и выплывая сквозь распахнутые окна, – кончался последний год пребывания Гарпа в Стиринг-скул. Гарп славился своей честностью, начисто лишенной иронии или юмора, своими успехами на борцовском ковре и сочинениями по английской литературе. По другим предметам его отметки были от удовлетворительных до плохих. С самого раннего возраста Гарп, как он позднее утверждал, всегда стремился к совершенству в чем-то одном и никогда не разбрасывался.

Результаты тестов на общую проверку способностей свидетельствовали, что особыми способностями он не обладает. От рождения ему не было дано ничего. Гарпа это не удивляло: он разделял со своей матерью уверенность, что ничто не дается просто так, от рождения. И когда кто-то из литературных критиков после выхода второго романа Гарпа назвал его «прирожденным писателем», Гарп решил над ним поиздеваться. Он послал копию этой рецензии в Принстон, штат Нью-Джерси, тем, кто ранее его тестировал, с просьбой еще раз проверить их первоначальные выводы относительно его, Гарпа, «врожденных» способностей. А получив копию результатов своих тестов, переслал ее тому критику с запиской, в которой говорилось: «Чрезвычайно Вам благодарен за Ваши оценки, но у меня в жизни не было ни одного „врожденного“ таланта». Гарп считал, что стал «прирожденным» писателем, хотя с тем же успехом мог бы стать «прирожденным» медбратом или «прирожденным» воздушным стрелком.

– Г-г-гарп! – повторил мистер Тинч, наклоняясь к юноше, который тут же почувствовал запах ужасной правды.

Гарп знал, что должен выиграть ежегодный приз за лучшее сочинение. В этом отношении единственным судьей всегда был Тинч. А если он сумеет еще и сдать экзамен за курс математики, который ему пришлось проходить повторно, то вполне успешно окончит школу, чем весьма порадует мать.

– У м-м-меня п-п-плохо пахнет изо рта? – спросил Тинч.

– «Хорошо» или «плохо» – это дело вкуса, сэр, – ответствовал Гарп.

– Ну а на в-в-ваш вкус, Гарп? – настаивал Тинч.

– На мой вкус, – не моргнув глазом заявил Гарп, – у вас изо рта пахнет лучше, чем у любого другого учителя в этой школе.

И он пристально посмотрел через весь класс на Бенни Поттера из Нью-Йорка – вот уж кто действительно был умницей и «прирожденным» остряком, даже сам Гарп не стал бы против этого возражать – и не сводил с него глаз до тех пор, пока с лица Бенни не исчезло насмешливое выражение; глаза Гарпа говорили ясно: он свернет Бенни шею, если тот только пикнет.

Тинч сказал: «Благодарю вас, Гарп!» – и Гарп получил первый приз за сочинение, хотя, сдавая мистеру Тинчу свою работу, он приложил к ней следующую записку:

Мистер Тинч! Я тогда солгал Вам при всех, потому что не хотел, чтобы эти засранцы над Вами смеялись. Вам, однако, следует знать, что изо рта у Вас пахнет действительно очень скверно. Извините. Т. С. Гарп.

– Знаете, что я в-в-вам скажу? – начал Тинч, когда они наедине обсуждали последний рассказ Гарпа.

– Что? – спросил Гарп.

– Я ничего не могу п-п-п-поделать с этим з-з-з-запахом! Думаю, это потому, что я ум-м-м-мираю, – заявил он и почему-то подмигнул Гарпу. – Я з-з-загниваю изнутри, а запах вырывается наружу!

Но Гарпу его шутка не понравилась. И, уже окончив школу, он постоянно справлялся о мистере Тинче, искренне радуясь, что старый джентльмен не болеет ничем серьезным.

Тинч умер значительно позже от причин, ничего общего не имевших с дурным запахом изо рта. Зимней ночью, возвращаясь домой с преподавательской вечеринки, где, как потом говорили, вероятно, выпил лишнего, он поскользнулся на обледенелой дорожке, упал, ударился головой и потерял сознание. Ночной сторож обнаружил его тело, когда уже рассвело; скорее всего, мистер Тинч умер просто от переохлаждения.

К несчастью, первым, кто сообщил эту печальную новость Гарпу, оказался именно записной школьный остряк Бенни Поттер. Гарп случайно встретил его в Нью-Йорке, где Поттер писал статейки для какого-то иллюстрированного журнала. Скверное мнение Гарпа о Поттере еще усугублялось его низким мнением об иллюстрированных журналах вообще и убеждением, что Поттер всегда завидовал известности, которой Гарп пользовался как писатель. «Поттер – один из тех бедолаг, – писал позднее Гарп, – у кого в столе хранится с десяток готовых романов, но они никогда не осмелятся никому их показать».

В школьные годы Гарп, правда, и сам не очень-то стремился показывать кому-либо свои творения. Только Дженни и Тинч имели возможность наблюдать за его развитием и успехами. И как известно, один рассказ он дал почитать Хелен Холм, после чего решил ничего больше Хелен не показывать до тех пор, пока не напишет что-нибудь такое, о чем она не сможет сказать ни одного дурного слова.

– Ты слыхал? – спросил Бенни Поттер, встретив Гарпа в Нью-Йорке.

– О чем? – удивился Гарп.

– Старый Вонючка-то копыта отбросил, – сказал Бенни. – Замерз насмерть.

– Как ты сказал? – переспросил Гарп. – Кто копыта отбросил?

– Старый Вонючка, – повторил Поттер. Гарп всегда терпеть не мог эту кличку. – Напился пьяным и поперся домой по обледеневшей тропке через лужайку. Упал, ударился башкой и замерз насмерть.

– Ну и жопа же ты! – сказал Гарп с чувством.

– Правда-правда, Гарп, – сказал Бенни. – Такая гребаная холодина стояла, пятнадцать ниже нуля. Хотя, – добавил он вдруг, – его вонючая пасть должна была бы греть его в-в-всю н-н-н-ночь.

Они стояли в баре вполне приличного отеля, где-то в районе Парк-авеню; Гарп никогда не знал, куда он попадал, когда оказывался в Нью-Йорке. Он приехал в город на встречу

с кем-то и случайно наткнулся на Поттера, который и затащил его в этот бар. Гарп подхватил Поттера под мышки и посадил его на стойку.

– Ты просто гнида, Поттер, – сказал он.

– Ты меня никогда не любил! – попытался вырваться Бенни.

Гарп слегка подтолкнул его, и полы расстегнутого пиджака Бенни Поттера угодили в раковину за стойкой, где отмокали грязные стаканы.

– Оставь меня в покое! – взвизгнул Бенни. – Ты всегда был любимым лизожопом старого Вонючки!

Гарп еще подтолкнул его, и задница Бенни съехала в раковину; мыльная вода выплеснулась на стойку.

– Сэр, прошу вас слезть со стойки, – вежливо сказал бармен, обращаясь к Бенни.

– Господи помилуй! – возмутился тот. – Да меня же толкнули! Вот кретин!

Но Гарп уже шел к выходу. Бармену пришлось вытащить Бенни из раковины и усадить за самый дальний столик.

– Ну что за сукин сын! – бесился Бенни. – У меня теперь вся задница мокрая!

– Прошу вас, сэр, выбирайте выражения! – сказал бармен.

– Ну вот, и траханый бумажник весь промок! – Бенни, пытаясь отжать мокрые брюки, продемонстрировал бармену свой мокрый бумажник. – Гарп! – заорал он, но Гарпа и след простыл. – У тебя всегда было отвратное чувство юмо-

ра, Гарп!

В общем, замечание справедливое, Гарп и в самом деле, особенно в школьные годы, без особого юмора относился даже к самым своим любимым занятиям – к борьбе и к писательству, то бишь к своей будущей карьере.

– А почему ты решил, что станешь писателем? – спросила его однажды Куши Перси.

Гарп в тот год оканчивал школу. Они с Куши гуляли по окраине города, направляясь берегом Стиринг-ривер в какое-то замечательное место, которое хорошо знала Куши. Она приехала домой на уик-энд из школы Диббса. Надо сказать, это была уже пятая из приготовительных школ, где училась Куши Перси. Начинала она в Толбот-скул, в одном классе с Хелен, но вскоре у Куши возникли проблемы с дисциплиной, и ее попросили покинуть это учебное заведение. Те же проблемы поочередно возникали и в трех других школах. Среди учеников Стиринга Диббс-скул была хорошо известна и даже пользовалась популярностью – из-за тех самых девочек, у которых были проблемы с дисциплиной.

Был прилив, и Стиринг-ривер казалась на удивление полноводной. Гарп смотрел, как восьмивесельный «шелл» скользит по воде, следом за ним летела чайка. Куши взяла Гарпа за руку. У Куши было множество сложных способов проверить, как к ней относится тот или иной мальчик. Многие из учеников Стиринг-скул мечтали остаться с Куши на-

едине, но мало кому хотелось, чтобы остальные видели, как он демонстрирует свой интерес к ней. Гарпу, как она заметила, было на это наплевать. Он крепко держал ее за руку. Конечно, они росли вместе, но Куши отнюдь не считала, что за это время они стали близкими друзьями. По крайней мере, думала она, если Гарп хочет того же, что и все остальные, его не смущает, что кто-то видит, как он этого добивается. Этим-то он Куши и нравился.

– А я думала, ты станешь борцом, – сказала она.

– Борцом я уже стал, – сказал Гарп. – А буду – писателем.

– И женишься на Хелен Холм, – насмешливо сказала Куши.

– Может быть, – сказал Гарп и немного отпустил руку Куши.

Куши знала, что Хелен Холм – тема, к которой Гарп относится абсолютно без юмора, так что здесь надо поосторожнее.

Вскоре им навстречу попалась компания мальчишек из Стиринг-скул, и один из них, оглянувшись, крикнул:

– Господи, во что это ты ввязался, Гарп?

– Не обращай внимания, – сказала Куши, сжав руку Гарпа.

– Я и не обращаю, – спокойно ответил он.

– А о чем ты собираешься писать? – спросила Куши.

– Не знаю, – ответил Гарп.

Он не знал даже, будет ли поступать в колледж. Несколько колледжей Среднего Запада проявляли интерес к его бор-

цовским талантам: Эрни Холм успел разослать несколько рекомендательных писем. Из двух мест Гарпу пришли приглашения, и он туда съездил. В борцовских залах этих колледжей Гарп почувствовал себя даже не аутсайдером, но прямо-таки нежелательным элементом. Тамошние борцы, казалось, стремились не просто победить его, а уничтожить морально. Его же стремление победить их было не слишком велико. В одном колледже ему сделали очень любопытное предложение – небольшая стипендия на первом курсе, но никаких обещаний насчет второго года обучения. Что ж, в общем-то, честно, если учесть, что он из Новой Англии. Но Эрни предупреждал его: «Там это совершенно иной вид спорта, парень. То есть у тебя, конечно, есть способности и, если уж на то пошло, отличная подготовка. Но тебе не хватает честолюбия, азартного стремления к победе. А стоило бы такое стремление развить. Это похоже на чувство голода, понимаешь? Надо быть действительно заинтересованным в победе, очень желать ее».

А когда Гарп спросил у Тинча, куда ему поступить, чтобы стать писателем, Тинч вроде как совершенно растерялся и не знал, что посоветовать. «В к-к-какой-нибудь х-х-хороший к-к-колледж, наверное, – сказал он. – Но ес-с-сли ты с-с-собираешься писать, это ведь м-м-можно делать г-г-где угодно, не так ли?»

– А у тебя красивое тело, – шепнула Гарпу Куши Перси, и в ответ он крепче сжал ее руку.

– У тебя тоже, – честно признался он.

Хотя, по правде сказать, тело Куши было далеко от совершенства. Она была маленькая, коренастая, но на редкость по-женски соблазнительная, этакий компактный, плотненький бутончик. Ее бы следовало назвать не Кушмен, думал Гарп, а Кушетка; сам он еще в детстве иной раз дразнил ее так: «Эй, Кушетка, гулять пойдешь?» А сейчас она сказала, что знает одно место…

– Куда ты меня ведешь? – спросил Гарп.

– Ха! – ответила она. – Это ты меня ведешь! А я просто показываю тебе дорогу. К тому самому месту, – добавила она.

Они сошли с тропинки там, где Стиринг-ривер в старину называлась Кишкой: когда-то здесь засосало в грязь целый корабль, от которого теперь уж и следов не осталось. Только на берегу еще можно было отыскать кое-что интересное. Именно здесь, у излучины реки, Эверетт Стиринг и намеревался уничтожить англичан – здесь по сей день стояли его пушки, три огромных чугунных чудовища, насквозь проржавевших и вросших в бетонное основание. Когда-то они, конечно, могли поворачиваться, но потом отцы города навечно закрепили их в одном положении. Рядом с пушками лежала горка ядер, тоже скрепленных бетоном. Ядра настолько проржавели, что стали зелено-красными, словно их сняли с давно затонувшего корабля, а бетонное основание, на котором они лежали, сплошь покрывал мерзкий современный мусор – банки из-под пива и битое стекло. Поросший травой

склон, что вел вниз к практически неподвижной воде обмелевшей реки, был вытоптан, словно здесь паслось огромное стадо овец, но Гарп хорошо знал, что склон истоптан ногами мальчишек из Стиринг-скул, бегавших сюда на свидания. В общем, выбор Куши оригинальностью не отличался, хотя и был вполне в ее стиле.

Куши нравилась Гарпу, а ее брат Уильям Перси всегда очень хорошо к нему относился. Гарп был слишком мал, чтобы быть хорошо знакомым со Стьюи Вторым, ну а Допи всегда был всего лишь Допи. Маленькая Пух казалась Гарпу ребенком немного странным и очень робким. Видимо, свою трогательную глупость Куши целиком унаследовала от матери, Мидж Стиринг-Перси. Гарп подозревал, что ведет себя не очень честно – ведь при Куши он никогда не упоминал, что считает ее папашу, Жирного Стью, полнейшим кретином и засранцем.

– Ты что, никогда раньше здесь не бывал? – спросила Куши.

– Может, и бывал, вместе с матерью, когда-то давно, – сказал Гарп.

Конечно же, он знал, что это за место – «у пушек». В Стиринг-скул даже существовало расхожее выражение «потрахаться у пушек». Например: «Я здорово потрахался у пушек в прошлый уик-энд!» или «Видел бы ты, как старина Фенли кончил вчера у пушек!» Да и сами пушки пестрели соответствующими надписями: «Пол трахал здесь Бетти. 1958 г.»

или: «М. Овертон, 59 г. Кончил здесь пять раз».

На том берегу сонной реки виднелись игроки в гольф из Стиринг-Кантри-клаб. Даже на таком расстоянии их дурацкая одежда казалась совершенно неестественной в этих лугах и заросших тростником болотах. Яркие головные платки и пестрая шотландка на фоне зелено-коричневых трав и серо-коричневой грязной воды превращали игроков в каких-то напуганных и неуместных здесь животных, преследующих прямо по озеру свою скачущую добычу – белые мячи-точки.

– Господи, до чего же идиотская игра этот гольф, – сказал Гарп.

Он по-прежнему отрицательно относился к играм с мячами и клюшками; Куши уже слыхала его тезисы на сей счет и пропустила эту реплику мимо ушей. Она уселась там, где трава была помягче, – внизу застыла река, вокруг торчали густые кусты, а сверху нависали огромные разверстые жерла пушек. Гарп заглянул в ближайшее жерло и вздрогнул, обнаружив там голову разбитой куклы; голова как живая смотрела на него одним уцелевшим стеклянным глазом.

Куши расстегнула ему рубашку и слегка куснула за сосок.

– Ты мне нравишься, – сказала она.

– Ты мне тоже, Кушетка, – сказал Гарп.

– Как ты думаешь, – спросила Куши, – то, что мы старые друзья, этому не помешает?

– Да нет! – ответил Гарп.

Он надеялся, что они быстренько перейдут прямо к делу, потому что еще никогда этим не занимался и очень рассчитывал на опыт Куши. Некоторое время они целовались взасос, сидя на истоптанной траве. У Куши это здорово получалось, она крепко прижимала свои мелкие твердые зубки к его зубам.

Честный даже в столь юном возрасте, Гарп попытался все же промямлить, что, по правде сказать, отец ее – полный идиот.

– Ну конечно идиот, – согласилась Куши. – Но и твоя мать тоже немножко странная, верно?

Ну да, Гарп тоже так считал.

– Но я все равно ее люблю, – заявил этот самый преданный из сыновей. Даже в такой момент.

– Ага, мне она тоже нравится, – сказала Куши.

Таким образом, они выяснили все, что требовалось, и Куши разделась. Гарп тоже разделся, но тут она вдруг спросила:

– Слушай, а где он?

– Какой еще «он»? – в панике спросил Гарп. Он-то думал, что она как раз в «него» и вцепилась.

– Где эта штука? – требовательно спросила Куши, дергая его за то, что Гарп как раз «этой штукой» и считал.

– Да что тебе нужно? – спросил Гарп.

– Как, неужели ты ничего с собой не взял? – спросила Куши.

Гарп лихорадочно соображал, что именно он должен был

взять с собой.

– А что я должен был взять? – все-таки спросил он.

– Ох, Гарп! – вздохнула Куши. – У тебя что, резинок нету?

Он виновато поглядел на нее. Он ведь был мальчишкой, всю жизнь прожившим вдвоем с матерью, и единственная «резинка», какую он видел в жизни, была однажды надета на дверную ручку их квартирки рядом с изолятором, по всей вероятности, гнусным мальчишкой по фамилии Меклер, который давным-давно окончил школу и уехал куда-то продолжать свое саморазрушение.

Тем не менее о таких вещах следовало знать. Он ведь не раз слышал от мальчишек о презервативах.

– Иди сюда. – Куши подвела его к пушкам. – Ты ведь ни разу этим не занимался, верно? – спросила она. Он кивнул, как всегда честный до идиотизма. – Ох, Гарп! – снова вздохнула она. – Не будь ты моим старым другом… – Она улыбнулась, но он понял, что теперь этого уже не будет: она не даст. Куши ткнула пальцем в дуло средней пушки. – Погляди сюда.

Он поглядел. Осколки стекла сверкали как драгоценные камни. Наверное, подумал Гарп, так сверкают камешки на морском берегу где-нибудь в тропиках… Виднелось в жерле пушки и кое-что еще, не столь приятное на вид.

– Вот они, резинки, – сказала Куши.

Ствол пушки и впрямь был весь забит использованными кондомами. Сотни презервативов! Выставка остановленно-

го размножения. Подобно собакам, помечающим мочой границы своей территории, парни из Стиринг-скул оставляли свою сперму в дуле пушки, охраняющей Стиринг-ривер. Современный мир, таким образом, оставил свой след и на этом историческом памятнике.

Куши уже одевалась.

– А ты, оказывается, ничего и не умеешь, – поддразнила она его. – О чем же ты писать-то будешь?

Гарп и впрямь заподозрил, что через несколько лет это вырастет для него в настоящую проблему.

Он тоже собрался было одеться, но Куши заставила его лечь на землю, чтоб как следует его рассмотреть.

– Ты и вправду очень красивый, – сказала она. – И не бери в голову – ничего страшного не произошло. – Она поцеловала его.

– Я могу сбегать за резинками, – сказал он. – Это же быстро. И тогда мы сможем сюда вернуться.

– У меня поезд в пять, – сказала Куши, но сочувственно ему улыбнулась.

– Я же не знал, что тебе нужно так быстро вернуться, – сказал Гарп.

– Видишь ли, даже в Диббсе существуют некоторые дурацкие правила. – В голосе Куши звучала обида – за свою школу и ту репутацию, которую эта школа заслужила своими свободными нравами. – И потом… ты же встречаешься с Хелен, верно? Я знаю, что встречаешься.

– Но не так, как с тобой, – признался Гарп.

– Гарп, никогда и никому не рассказывай всего, – сказала Куши.

Та же проблема была и с его писательскими опытами: мистер Тинч говорил ему то же самое.

– Ты все воспринимаешь слишком серьезно, – сказала Куши, в кои-то веки оказавшись в ситуации, когда имела полное право прочесть ему нотацию.

По речной глади внизу скользил восьмивесельный «шелл», пробираясь по узкому каналу, оставшемуся от Кишки; гребцы торопились к эллингу Стиринг-скул, пока прилив не кончился и лодка не села на мель.

Тут Гарп и Куши увидали игрока в гольф. Прилив уже отступил, и он спустился по заросшему болотной травой противоположному берегу реки и, закатав свои яркие штаны до колен, вошел в грязную жижу. Далеко впереди на ее поверхности лежал мячик для гольфа, футах в шести от берега. Игрок осторожно двинулся вперед; грязь доходила ему почти до колен. Пользуясь клюшкой как балансиром, он окунул ее блестящий конец в жижу и выругался.

– Гарри, назад! – крикнул кто-то.

Это был его партнер по гольфу, одетый столь же ярко и безвкусно – в шорты до колен, такого интенсивно-зеленого цвета, какой нельзя выработать ни из одной травы на свете, и желтые носки. Игрок по имени Гарри сделал еще шаг к мячику – ни дать ни взять диковинная птица, пытающаяся

извлечь свое яйцо из покрытых нефтяной пленкой наносов.

– Гарри, ты же утонешь в этом дерьме! – встревожился его партнер.

И тут Гарп узнал его – мужчина в зеленых шортах и желтых носках был отец Куши, Жирный Стью.

– Мяч-то совсем новый! – крикнул ему Гарри и провалился одной ногой до самого паха, затем, пытаясь повернуть назад, потерял равновесие, плюхнулся в грязь и тут же утонул по пояс.

На багровом лице его проступило отчаяние. В грязной воде особенно ярко выделялась его синяя рубашка – синей, чем самое синее небо. Он взмахнул было клюшкой, но та выскользнула у него из рук и упала в грязь в нескольких дюймах от мяча, который по-прежнему сверкал неестественно белым пятнышком, теперь уже совершенно недостижим.

– Помогите! – взвизгнул Гарри. Став на четвереньки, он все же сумел на несколько футов приблизиться к Жирному Стью и безопасному берегу. – Тут, похоже, сплошные угри! – орал Гарри, продолжая ползти дальше на брюхе и отталкиваясь руками, как тюлень ластами. Его продвижение сопровождалось жуткими чавкающими звуками, будто под слоем отвратительной грязи скрывалась чья-то пасть, норовившая засосать его.

Гарп и Куши, укрывшись в кустах, с трудом сдерживали смех. Гарри сделал последний бросок к берегу. Стюарт Перси, пытаясь помочь, тоже ступил в жидкую грязь, правда

только одной ногой, и тут же потерял туфлю, которую засосало вместе с желтым носком.

– Тихо! Не шевелись! – предупредила Куши. И вдруг они заметили, что у Гарпа эрекция. – Ой, вот незадача! – прошептала Куши, грустно глядя на его вставший член, но, когда он попытался притянуть ее к себе и завалить на траву, серьезно сказала: – Я не хочу никаких детей, Гарп. Даже от тебя. К тому же твои дети могут оказаться джапами. А такие мне точно ни к чему.

– Что? – заорал Гарп. Одно дело ничего не знать о презервативах, но что это за чушь про детей-джапов?

– Тихо, тихо, – прошептала Куши. – Я сейчас кое-что тебе покажу, а после ты, возможно, об этом напишешь.

Разъяренные игроки в гольф уже выбрались на берег и шагали сквозь болотную траву назад, к аккуратным игровым трекам, а Гарп между тем почувствовал губы Куши на тугом узле, что образовался у него внизу живота. Впоследствии Гарп так и не мог с уверенностью сказать, насколько мощный толчок его памяти дало слово «джап» и действительно ли в этот миг вспомнил, как истекал кровью в доме Перси, а маленькая Куши твердила своей матери, что «Бонки укусил Гарпа» (и как тщательно осматривал маленького Гарпа голый Жирный Стью). Вполне возможно, в его памяти все же сохранилось выражение Стюарта «джапские глаза», и собственное его прошлое словно разом совместилось с общей временно́й перспективой; но так или иначе, Гарп решил как

следует расспросить Дженни и узнать побольше подробностей о своем происхождении, потому что мать рассказывала ему об этом крайне мало. Он ощущал жгучую потребность знать не только то, что его отец был солдатом и погиб. Но ощущал и влажные губы Куши у себя на животе, а когда она вдруг взяла его «штуку» в свой горячий рот, он был настолько потрясен, что все серьезные мысли и намерения словно взорвались вместе с сознанием. Вот так, под дулами трех семейных пушек Стирингов, Т. С. Гарп впервые познакомился с сексом в его относительно безопасной и нерепродуктивной форме. Конечно, с точки зрения Куши, это была далеко не лучшая форма секса, без взаимности.

Обратно они возвращались держась за руки.

– Я хочу быть с тобой в следующий уик-энд, – сказал Гарп. Он уже сделал себе пометку в памяти: не забыть про «резинки».

– Ты же все равно любишь Хелен, – сказала Куши.

Она, наверное, ненавидела Хелен Холм, если вообще была с нею знакома. Еще бы, Хелен такая зазнайка, так гордится своими мозгами!

– И все равно я хочу быть с тобой, – упрямо сказал Гарп.

– Ты очень милый, – сказала Куши, сжимая его руку. – И ты – самый старый мой друг.

Хотя обоим не мешало бы знать, что можно быть знакомым с человеком всю жизнь, но так и не стать его другом.

– А кто тебе сказал, что мой отец японец? – спросил Гарп.

– Не помню, – сказала Куши. – Я вовсе не уверена, что он был японец.

– Я тоже, – сказал Гарп.

– А почему бы тебе не спросить у матери? – сказала Куши.

Разумеется, он спрашивал, и не раз, но Дженни упорно не желала отступать от первой и единственной версии его происхождения.

Когда Гарп позвонил Куши в Диббс-скул, она сказала:

– Ой, это ты! Тут только что звонил мой папаша, и он сказал, что мне нельзя ни видеться с тобой, ни писать тебе, ни даже с тобой разговаривать. Даже письма твои читать нельзя! Как будто ты мне пишешь письма! Думаю, нас кто-то видел, когда мы были у пушек. – Ей это казалось очень забавным, однако Гарп сразу почувствовал, что его будущее у пушек обречено. – Я приеду на ваш выпуск, – сообщила Куши.

А Гарп мучился сомнениями: если он купит презервативы прямо сейчас, будут ли они еще пригодны в выпускной вечер? И вообще, могут ли «резинки» испортиться? Сколько недель их можно хранить? И не лучше ли в холодильнике? Спросить было не у кого.

Гарпу хотелось спросить об этом у Эрни Холма, но он опасался, что о его свидании с Куши Перси узнает Хелен. И хотя между ним и Хелен ничего особенного пока не было и обвинить его в неверности она не могла, у Гарпа было богатое воображение и свои определенные планы на будущее.

Он написал Хелен длинное исповедальное письмо о своем «вожделении», как он его называл, и о том, что оно не идет ни в какое сравнение с теми высокими чувствами, которые он испытывает к ней. Хелен быстро ответила, что совершенно не понимает, с какой стати он ей-то обо всем этом пишет, но прибавила, что *пишет* он теперь, как ей кажется, гораздо лучше, чем прежде. Гораздо лучше, например, чем тот рассказ, который он ей показывал. И она надеется, что он будет и впредь показывать ей все, что напишет. Хелен также добавила, что Куши Перси – девица довольно глупая, судя по тому немногому, что она о ней слышала. «Но чисто внешне она симпатичная», – писала Хелен. И если уж Гарпом овладело «вожделение», то это просто удача, что рядом оказалась именно Куши.

Гарп ответил Хелен, что покажет ей теперь только вещь, достойную ее уровня. Он поделился с нею и своими мыслями насчет нежелания поступать в колледж. Во-первых, он считал, что в колледж стоит поступать только в том случае, если продолжать заниматься борьбой, а он вовсе не уверен, что так уж сильно хочет заниматься борьбой, да еще и на более высоком уровне. А в обычном поддержании уже достигнутого уровня он просто не видит смысла – если он поступит в какой-нибудь небольшой колледж, где на спорт особого внимания не обращают. «Борьбой стоит продолжать заниматься, – писал он Хелен, – только если хочешь стать лучшим». А он отнюдь не был уверен, что ему это нужно, да и понимал,

в общем, что вряд ли ему удастся стать лучшим. Во-вторых, рассуждал далее Гарп, слыхала ли Хелен хоть об одном человеке, который специально поступил в колледж, чтобы стать настоящим писателем, лучшим из лучших?

И где он только почерпнул эту идею – непременно стать лучшим из лучших?

Хелен написала, что, на ее взгляд, ему хорошо бы поехать в Европу, и Гарп немедленно обсудил эту мысль с Дженни.

К его удивлению, Дженни, оказывается, отнюдь не стремилась отправить его в колледж. И отнюдь не была уверена, что подготовительные школы вроде Стиринга предназначены именно для этого.

– Если Стиринг-скул дает первоклассное образование, – заявила Дженни, – то за каким чертом тебе идти еще куда-то? По-моему, если ты хорошо учился здесь, значит ты уже человек образованный. Я права или нет?

Гарп отнюдь не чувствовал себя человеком образованным, но все же ответил, что, наверное, мать права. Тем более, как ему представляется, учился он не так уж и плохо. А вот идея насчет поездки в Европу Дженни очень заинтересовала.

– Ну что ж, можно попробовать, – сказала она. – Все лучше, чем без конца торчать здесь.

Вот тут-то Гарп и понял, что мать намерена «торчать здесь» вместе с ним!

– Я постараюсь узнать, в какую европейскую страну сто-

ит прежде всего поехать начинающему писателю, – сказала Дженни. – Я ведь и сама подумываю кое-что написать.

После этих слов Гарпу стало настолько паршиво, что он сразу ушел к себе и лег спать. А утром, как только проснулся, с горечью написал Хелен, что, видно, обречен всю жизнь жить вместе с матерью. «Как я могу стать писателем, научиться писать по-настоящему, – жаловался он, – если мать все время будет заглядывать мне через плечо?» На этот вопрос у Хелен ответа не нашлось, и она сообщила, что посоветуется с отцом; может, Эрни что-нибудь тактично подскажет Дженни. Дженни очень нравилась Эрни Холму; он порой приглашал ее в кино, а она стала чуть ли не постоянным зрителем на всех состязаниях по борьбе, и, хотя между ними не было и не могло быть ничего, кроме дружбы, Эрни очень близко к сердцу принимал жизненные перипетии этой отважной матери-одиночки. Он, конечно, слышал версию Дженни о появлении Гарпа на свет и, приняв ее как должное, яростно защищал Дженни от не в меру любопытных представителей Стиринг-скул, которым хотелось бы знать побольше о прежней жизни Дженни Филдз.

Но в вопросах, связанных с культурой, Дженни полагалась только на советы мистера Тинча. Его она и спросила, в какую европейскую страну им стоит поехать – где атмосфера наиболее творческая и где писалось бы лучше всего. Мистер Тинч в последний раз посетил Европу в 1913 году и провел там всего одно лето. Сначала он поехал в Англию, где про-

живало еще несколько Тинчей, его британских родственников, однако те здорово напугали его, грубо и настырно требуя денег, так что Тинч тут же сбежал на континент. Однако и во Франции с ним обращались довольно грубо, а в Германии все почему-то слишком громко кричали. Из-за слабого желудка он опасался итальянской кухни и в итоге поехал в Австрию.

– Только в Вене, – сказал Тинч Дженни, – я нашел наконец н-н-настоящую Европу. Там т-т-такая с-с-созерцательная, т-т-такая творческая ат-т-тмосфера. Т-т-там ощущаешь и грусть, и в-в-величие европейской культуры…

Год спустя началась Первая мировая война. В 1918 году множество венцев из тех, что уцелели в войну, погибли во время страшной эпидемии испанки. Грипп убил и старика Климта, и молодого Шиле, и его юную жену. А потом еще сорок процентов оставшегося в живых мужского населения Вены погибло во время Второй мировой войны. И та Вена, куда Тинч советовал поехать Дженни и Гарпу, стала городом полумертвым, утомленным, где жизнь уже подходила к концу. Правда, ее спокойную утомленность еще можно было по ошибке принять за «с-с-созерцательную ат-т-тмосферу», но никакого «в-в-величия» в ней уже не осталось. И, слушая полуправдивые рассказы Тинча, Дженни и Гарп ощутили невольную грусть. «Творческая атмосфера, – писал позднее Гарп, – возникает в любом месте, где творит художник».

– Вена? – удивленно спросил Гарп, когда Дженни поведа-

ла ему о своих планах.

Он спросил это почти тем же тоном, каким более трех лет назад с отвращением простонал: «Господи, борьба!» Он тогда лежал больной в постели и очень сомневался, что мать способна выбрать для него подходящий вид спорта. Однако он понимал, что тогда Дженни оказалась права, да и вообще он практически ничего не знал как о Европе, так и о любом другом месте. В Стиринге Гарп три года учил немецкий, так что хотя бы с этим особых затруднений возникнуть не должно было, а Дженни (совершенно неспособная к языкам) когда-то читала книгу, в которой рассказывалось о странно соседствовавших явлениях и личностях австрийской истории – о Марии Терезии и фашизме. Книга называлась «От империи до аншлюса». Гарп видел ее в ванной, она там валялась несколько лет, но теперь ее вряд ли можно было бы отыскать. Вероятнее всего, ее постепенно унесло в канализацию.

– Последним, у кого я видела эту книгу, был Улфелдер, – сказала Дженни Гарпу.

– Мам, но ведь Улфелдер уже три года как школу окончил, – напомнил ей Гарп.

Когда Дженни сообщила декану Боджеру о своем уходе, Боджер искренне огорчился и сказал, что в Стиринг-скул будет ее не хватать и что они всегда готовы принять ее обратно. Дженни не хотела показаться невежливой, но все же промямлила, что медсестра всюду найдет работу; она, конечно,

еще не знала, что никогда уже не будет работать медсестрой. Боджера очень удивило, что Гарп не собирается поступать в колледж. По мнению декана, у Гарпа не было ни малейших проблем с дисциплиной с тех самых пор, как он в пятилетнем возрасте благополучно пережил происшествие на крыше; вдобавок Боджер всегда гордился своей ролью в спасательной операции, и эта гордость питала его теплое отношение к Гарпу. Кроме того, Боджер болел за школьную борцовскую команду, а также был одним из немногочисленных поклонников Дженни. Впрочем, он вполне спокойно воспринял известие, что мальчик как будто увлекся «писательским делом» (так Боджер называл увлечение Гарпа). Дженни, конечно же, не стала ему говорить, что и сама хочет попытать счастья на писательском поприще.

Собственно, эти ее планы и вызывали у Гарпа наибольшее замешательство, но он ни словом не обмолвился о своих сомнениях даже в письмах к Хелен. События развивались очень быстро, и Гарп успел выразить свои дурные предчувствия лишь в разговоре с тренером, Эрни Холмом.

– Твоя мать знает, что делает, я уверен, – сказал ему Эрни. – Ты бы лучше о себе побеспокоился.

Даже старый Тинч был полон оптимизма.

– Эт-т-то, конечно, ч-ч-чуточку эк-к-ксцентрично, – сказал он Гарпу, – однако м-м-многие блестящие идеи сп-п-перва кажутся эк-к-к-ксцентричными.

Годы спустя Гарп вспомнит, что заикание Тинча бы-

ло своеобразным предупреждением, которое посылало ему собственное тело, видимо пытаясь сообщить своему хозяину, что он умрет от п-п-п-переохлаждения.

Дженни твердила, что они уедут сразу же после выпускного вечера, но Гарп рассчитывал остаться в Стиринге на все лето.

– Господи, ради чего? – удивилась Дженни.

Ради Хелен, хотелось ему сказать, впрочем, у него пока не было таких рассказов, которые оказались бы достаточно хороши для Хелен, и он уже написал ей об этом. Вот почему оставалось только ехать и срочно начинать писать хорошие рассказы. Да и вряд ли можно рассчитывать, что Дженни согласится провести в Стиринге целое лето только ради того, чтобы он мог еще разок сбегать «к пушкам» на свидание с Куши Перси, которое, вполне возможно, вообще не состоится. Но он все же надеялся повидать Куши в первый же уикэнд после выпускного вечера.

В день выпуска шел проливной дождь, превращая в кисель и без того достаточно влажную почву кампуса; ливневые стоки были напрочь забиты, и машины двигались по улицам Стиринга, как яхты в шторм. Женщины в летних нарядах выглядели совершенно беспомощными; семейные фургоны загрузили поспешно, кое-как. Перед спорткомплексом имени Майлса Сибрука была воздвигнута огромная ярко-красная палатка, похожая на купол цирка; под куполом стояла ужасная духота, и в этой духоте выпускникам вруча-

лись аттестаты об окончании школы; речи ораторов тонули в стуке дождевых капель по тугому красному брезенту.

Гарп не заметил никого из близких знакомых. Хелен не приехала, поскольку в Толбот-скул выпускной вечер должен был состояться только через неделю и она еще сдавала последние экзамены. Куши Перси на этой бездарной церемонии, конечно же, присутствовала, но Гарп ее не увидел. Он понимал, что она где-то здесь, рядом со своими отвратительными родственничками, но держался подальше от Жирного Стью, – в конце концов, отец есть отец и оснований злиться на очередного «поклонника» Куши у него предостаточно, пусть даже честь Кушмен Перси утеряна давным-давно, и отнюдь не по вине Гарпа.

Под вечер из-за туч наконец выглянуло солнце, но это уже не имело значения. Территория школы буквально исходила паром, а почва – от спорткомплекса Сибрука до пушек – настолько пропиталась водой, что на много дней превратилась в настоящее болото. Гарп представил себе, какими широкими потоками стекает в реку вода возле пушек; да и сама Стиринг-ривер наверняка здорово вздулась. И в пушках небось полно воды – дула-то у них задраны вверх. После сильного дождя из пушек всегда выливалось на бетонный постамент гнусное месиво из битого стекла и сотен старых презервативов. Нечего и надеяться, что в такой день удастся заманить Куши к пушкам, думал Гарп.

А пакетик с тремя презервативами все-таки шуршал у

него в кармане как маленький огонек надежды.

– Слушай, – сказала Дженни, – я пива купила. Можешь даже напиться, если хочешь.

– Господи, мам, ну ты даешь! – сказал Гарп, но все же выпил с нею пива.

В ночь после выпуска они сидели совершенно одни; изолятор рядом опустел, с коек было снято постельное белье. Гарп пил пиво и размышлял о том, что вот все и кончилось; напряжение постепенно спадало; потом он постарался приободрить себя, вспомнив, что, учась в Стиринге, все-таки прочитал несколько очень неплохих рассказов. Надо сказать, читателем он был никудышным, не чета Хелен или Дженни. А к такому жанру, как рассказ, Гарп вообще относился довольно странно: он отыскивал какой-нибудь один, который ему особенно нравился, и без конца перечитывал его, причем в этот довольно длительный период никаких других рассказов уже не читал. За время учебы в Стиринге он, например, прочитал «Тайного соглядатая» Джозефа Конрада тридцать четыре раза, а «Человека, который любил острова» Д. Г. Лоуренса – двадцать один раз и в данный момент был вполне готов перечесть его снова.

За окнами их маленькой пристройки раскинулся кампус Стиринг-скул – темный, насквозь промокший и всеми покинутый.

– Ну ладно, давай посмотрим на это с другой стороны, – сказала Дженни; она видела, что Гарп совсем пал духом. –

Тебе потребовалось всего четыре года, чтобы окончить Стиринг, а вот я ходила в эту проклятую школу целых восемнадцать лет!

На этом, впрочем, ее речь и закончилась: пить Дженни совершенно не умела и на половине второй бутылки просто уснула за столом, и Гарп отнес ее в постель. Туфли она скинула по дороге, Гарпу осталось лишь вынуть у нее из волос заколку, чтоб она не укололась, ворочаясь во сне. Ночь была теплая, так что он не стал ее ничем укрывать.

Он выпил еще пива, а потом вышел прогуляться.

Конечно же, он знал, куда направляется.

Фамильный дом Перси – изначально фамильный дом Стирингов – высился посреди мокрой лужайки не так уж далеко от изолятора. Весь дом был темный, свет горел только в одном окне, и Гарп прекрасно знал, чье это окно, – маленькая Пух Перси, которой было уже четырнадцать, не могла спать в темноте. Куши рассказала Гарпу и о том, что Пух до сих пор старается на всякий случай надевать на ночь непромокаемые трусы с подгузником; может быть, подумал Гарп, это потому, что все ее семейство до сих пор упорно называет Бейнбридж Бедняжкой Пух?

«Ничего страшного я в этом не вижу, – говорила Куши. – Подумаешь! Она же не всегда *пользуется* подгузниками, ей просто нравится иногда их надевать. Так уж ее в нашей милой семейке изуродовали…»

Стоя на мокрой траве под окном Пух Перси, Гарп пытался

вспомнить, которое окно принадлежит Куши. А поскольку так и не вспомнил, то решил разбудить Пух; она уж точно его узнает и наверняка позовет Куши. Пух появилась в окне будто привидение и, похоже, не сразу узнала Гарпа, который висел, вцепившись в заросли плюща, у нее под окном. Глаза у Бейнбридж Перси сверкали, как у лани, ослепленной фарами автомобиля и готовой к тому, что сейчас ее собьют.

– Господи, Пух, не бойся, это же я! – прошептал Гарп.

– Тебе нужна Куши, да? – тупо спросила Пух.

– Да, – сказал Гарп, закашлялся, и тут плющ не выдержал и оборвался.

Гарп рухнул прямо на кусты. Куши, которая почему-то спала в купальнике, помогла ему выбраться.

– Ты же весь дом перебудишь! – упрекнула она его. – Выпил, что ли?

– Я просто упал! – раздраженно ответил Гарп. – А твоя сестрица – настоящая ведьма.

– Сейчас везде мокро, – словно не слыша его, заметила Куши. – Куда бы нам пойти?

Но Гарп уже подумал об этом. В изоляторе было целых шестьдесят пустых коек.

Однако не успели Гарп и Куши миновать веранду, как перед ними вырос Бонкерс. Черное чудовище запыхалось, едва спустившись с крыльца, а его серо-седая пасть была вся в пене; Гарп почувствовал зловонное дыхание пса – ощущение было такое, словно ему в лицо плеснули тухлятиной. Бон-

керс рычал, но от старости даже это делал теперь как-то замедленно.

– Скажи ему, чтоб убрался, – шепнул Гарп Куши.

– Да он глухой, – сказала Куши. – Он ведь совсем старый.

– Знаю я, какой он старый, – сказал Гарп.

Бонкерс залаял – звук был глухой и скрипучий, словно кто-то попытался отворить старую дверь с проржавевшим замком и несмазанными петлями. Пес явно похудел, но на вид все равно весил не менее ста сорока фунтов. Страдая от чесотки и ушных клещей, весь покрытый шрамами, полученными в боях с другими собаками и в сражениях с колючей проволокой, Бонкерс сразу учуял давнего врага и загнал Гарпа в угол возле веранды.

– Пшел прочь, Бонки! – прошипела Куши.

Гарп попробовал обойти пса и отметил, какой замедленной стала у того реакция.

– Он же наполовину слепой, – прошептал Гарп.

– И чутье почти потерял, – сказала Куши.

– Ему б давно пора сдохнуть, – буркнул себе под нос Гарп и снова попытался обойти пса.

Тот, пошатываясь, последовал за ним. Его пасть по-прежнему напоминала Гарпу ковш экскаватора, а провисшие мышцы когда-то сильной груди говорили о том, какой мощный у него был бросок – когда-то.

– Не обращай на него внимания, – сказала Куши, и тут Бонкерс бросился на Гарпа.

Но псу не хватило расторопности, так что Гарп успел отскочить, обойти его сзади и ухватить за передние лапы. Он дернул Бонкерса за лапы и одновременно всей своей тяжестью рухнул ему на спину. Пес сунулся носом в землю, продолжая отбиваться задними лапами. Гарп крепко зажал его передние лапы, придавив огромную голову к земле. Бонкерс издал чудовищное рычание, и тогда Гарп изо всех сил вцепился зубами в его шею, покрытую густой шерстью. И тут он увидел собачье ухо – оно буквально само угодило ему в рот. И Гарп, недолго думая, укусил Бонкерса за ухо. Укусил так, что тот взвыл. Но Гарп и не думал отпускать его; он укусил Бонкерса в отместку за свое откушенное ухо, в отместку за те четыре года, которые ему пришлось провести в Стиринге, и в отместку за те восемнадцать лет, которые пришлось провести здесь его матери.

Только когда в доме Перси стали загораться окна, Гарп отпустил старого Бонкерса.

– Бежим! – предложила Куши.

Гарп схватил ее за руку, и они помчались прочь.

Гарпа подташнивало, во рту был отвратительный привкус.

– Ух ты! А кусать его было обязательно? – спросила Куши.

– Он же меня укусил, – напомнил ей Гарп.

– Да, я помню.

Куши крепко сжала его руку, и он повел ее дальше – куда хотел отвести.

– Что за чертовщина тут творится?! – услыхали они за

спиной раздраженный крик Стюарта Перси.

– Это все Бонки! – пискнула Пух Перси.

– Бонкерс! – позвал Жирный Стью. – Ко мне, Бонкерс! Ко мне!

И все услышали ответное завывание старого оглохшего пса.

В общем, поднялся такой шум, что были разбужены все немногочисленные обитатели опустевшего кампуса, в том числе и Дженни Филдз, которая тут же высунулась в окно. К счастью, Гарп вовремя заметил, как мать зажигает свет, и, быстренько спрятав Куши в коридоре пустого изолятора, отправился к Дженни за медицинской помощью.

– Что с тобой? – спросила она сына.

Но Гарпу прежде всего хотелось выяснить, чья это кровь струится у него по подбородку – его собственная или же Бонкерса. Отмывая его возле кухонного стола, Дженни смыла у него с шеи нечто черное, похожее на струп, величиной с серебряный доллар. «Струп» упал на стол, и мать с сыном уставились на него.

– Что это?! – удивилась Дженни.

– Ухо, – ответил Гарп. – Или часть его.

На белой поверхности стола лежал кусок черной кожи, чуть свернувшейся по краям и потрескавшейся, как высохшая от старости перчатка.

– Я налетел на Бонкерса, – сказал Гарп.

– Ну что ж, ухо за ухо, – сказала Дженни Филдз.

У самого Гарпа не было ни царапины – он просто перепачкался в крови Бонкерса.

Когда Дженни снова ушла к себе в спальню, Гарп подземным туннелем провел Куши в изолятор. За восемнадцать лет он хорошо изучил этот путь и отвел ее в крыло, находившееся в самом дальнем от материнской спальни конце; они устроились в комнате над главным приемным покоем, рядом с кабинетами хирурга и анестезиолога.

С тех пор секс для Гарпа неизменно ассоциировался с определенными медицинскими запахами и ощущениями.

Этот случай навсегда остался в тайниках его памяти, но не как волнующее переживание, а просто как память о заслуженной награде, которая наконец-то досталась ему после всех пережитых мучений. И этот смутно-больничный запах тоже навсегда сохранился у него в памяти как нечто глубоко личное. А свое тогдашнее окружение он воспринимал как некое совершенно пустое пространство. И секс остался в памяти как единичный акт, совершенный в покинутой всеми и тщательно вымытой дождем земле. Причем акт, всегда вселяющий невероятный оптимизм.

Куши, конечно же, вспомнила про пушки. Когда третий презерватив из пакетика был уже использован, она спросила, неужели это все, что он припас, неужели купил только один пакетик. Но борец больше всего ценит именно заслуженный отдых после тяжелой схватки, и Гарп уснул под аккомпанемент жалобных причитаний Куши.

– В прошлый раз ты вообще ни одного не захватил, – плакалась она, – а теперь взял слишком мало, и они сразу кончились. Хорошо еще, что мы с тобой старые друзья.

Было еще темно и далеко до зари, когда их разбудил Стюарт Перси. Голос Жирного Стью гремел в стенах пустого изолятора, словно началась какая-то невиданная эпидемия. «Откройте!» – требовал он, и Куши с Гарпом подкрались к окну посмотреть, что происходит.

На ослепительно-зеленой после дождя лужайке стоял в махровом халате и шлепанцах – и с Бонкерсом на поводке! – отец Куши и орал, глядя на окна изолятора. Немного погодя в окне своей спальни появилась Дженни.

– Вы заболели? – спросила она Стюарта.

– Где моя дочь? – гаркнул Стюарт.

– Вы пьяны? – холодно спросила Дженни.

– Немедленно впустите меня! – завизжал Стюарт.

– Доктор в отъезде, – спокойно пояснила Дженни Филдз. – А я лично сомневаюсь, что вас вообще надо от чего-то лечить.

– Су-у-ука! – проблеял Стюарт. – Твой ублюдок совратил мою дочь! Я знаю, они там, в вашем траханом изоляторе!

Да, теперь это действительно траханый изолятор, подумал Гарп, тая от прикосновений и запаха Куши, которая тряслась от ужаса рядом с ним. В открытое окно влетал прохладный утренний ветерок, холодил кожу, заставляя и Гарпа поеживаться и вздрагивать; оба молчали.

– Вы только поглядите на мою собаку! – продолжал орать Стюарт. – Вся в крови! Она аж под гамак спряталась! Да у меня все крыльцо кровью залито! Что ваш проклятый ублюдок сделал с моим Бонкерсом?!

Гарп почувствовал, что Куши передернулась, услышав голос его матери. То, что затем сказала Дженни Филдз, заставило Куши Перси вспомнить собственные свои слова, произнесенные тринадцать лет назад. А сказала Дженни всего лишь: «Гарп укусил Бонки». Потом свет в ее комнате погас, и во мраке, упавшем на изолятор и пристройку, было слышно только злобное пыхтение Жирного Стью и стук капель дождя, омывающего Стиринг-скул, смывающего все дочиста.

Глава V
В городе, где умер Марк Аврелий

Когда Дженни с восемнадцатилетним Гарпом уехали в Европу, он был гораздо лучше большинства своих сверстников подготовлен к затворнической жизни, какую обычно ведут писатели. Он отлично чувствовал себя в том мире, который создал собственным воображением; в конце концов, его и воспитала женщина, полагавшая затворничество (если не одиночное заключение) наиболее естественной формой существования. Прошло немало лет, прежде чем Гарп заметил, что у него совсем нет друзей; однако Дженни Филдз это отнюдь не казалось странным. Ведь ее первым и единственным другом был Эрни Холм с его слегка отчужденной и подчеркнуто вежливой манерой держаться.

Дженни и Гарп далеко не сразу нашли себе жилье по вкусу, сперва переезжали из пансиона в пансион, колеся по всей Вене. Этот способ определить, в какой части города им больше всего нравится жить, подсказал мистер Тинч: пусть поживут понемногу во всех районах Вены, а потом решат, где лучше. Возможно, жизнь в пансионе и показалась приятной мистеру Тинчу в 1913 году, но теперь на дворе был 1961 год, и Дженни с Гарпом быстро устали таскать свои пишущие машинки по всему городу. Однако именно опыт жизни в раз-

личных венских пансионах и позволил Гарпу написать первый и, возможно, лучший его рассказ – «Пансион „Грильпарцер“». Гарп понятия не имел, *что* такое пансион, пока не приехал в Вену, но ему быстро стало ясно, что пансион способен предложить несколько меньше, чем гостиница, и вообще он всегда меньше, чем гостиница, и никогда не бывает достаточно элегантным; и далеко не всегда в пансионах предлагается завтрак. В иных пансионах ты как бы заключал некую сделку с самим собой, в других – почти сразу понимал, что совершил ошибку. Некоторые пансионы, выбранные Гарпом и Дженни, были вполне приятными – чистыми, комфортабельными, с дружелюбным персоналом, но зачастую слишком ветхими.

Дженни и Гарп почти сразу решили, где хотели бы жить: на Рингштрассе либо поблизости от нее. Эта широкая улица кольцом охватывает Старый город, сердце столицы; здесь можно было найти практически все необходимое буквально в двух шагах, так что Дженни, совсем не знавшая немецкого, вполне могла обойтись и без Гарпа, ведь, если можно так выразиться, это была наиболее космополитичная часть Вены, и здешнее население отличалось достаточно высокой образованностью.

Гарпа весьма забавляло, что теперь ему приходилось отвечать за свою мать и практически быть хозяином в доме: три года занятий немецким языком в Стиринг-скул сделали свое дело.

– Возьми шницель, мама, – советовал Дженни Гарп.

– А по-моему, Kalbsnieren звучит интереснее, – неуверенно говорила Дженни.

– Это телячьи почки, – переводил ей Гарп. – Ты что, любишь телячьи почки?

– Не знаю, – признавалась Дженни. – Наверное, нет.

Когда они наконец сняли квартиру, Гарп взял на себя закупку провизии и стряпню. Дженни восемнадцать лет питалась исключительно в столовой Стиринг-скул и готовить так и не научилась, а теперь не могла даже и в поваренную книгу заглянуть, не зная немецкого. Именно в Вене Гарп обнаружил, что ему очень нравится готовить. Но больше всего ему в Европе, по его собственным словам, понравился ватерклозет. В пансионах это, правда, была всего лишь крошечная комнатка, где, кроме унитаза, ничего не имелось, но это-то и показалось Гарпу чрезвычайно осмысленным. Он писал Хелен Холм: «Самая разумная система – когда люди испражняются в одном месте, а чистят зубы в другом». Ватерклозет даже стал впоследствии одним из «героев» рассказа Гарпа «Пансион „Грильпарцер“». Но в данный момент ни этого рассказа, ни чего-либо другого он еще не написал.

Для восемнадцатилетнего юноши Гарп был на удивление дисциплинирован и усидчив, однако вокруг оказалось слишком много интересного и незнакомого; кроме того, на него вдруг обрушилась неожиданная ответственность за мать, так что он, при постоянной занятости работой, за несколько ме-

сяцев не написал ничего, кроме нескольких пространных писем к Хелен. Разум его был слишком взбудоражен исследованиями новой территории обитания, и он просто не в силах был работать методически, как ни старался.

Ему хотелось написать историю одной семьи, но пока он знал про своих будущих героев только то, что они ведут довольно интересную жизнь и очень близки друг другу, как и полагается в настоящей дружной семье. Однако даже для начала этого было явно недостаточно.

В квартире, где поселились Дженни и Гарп, были кремовые стены и высокие потолки, а располагалась она на втором этаже старинного дома по Швиндгассе, небольшой улочке в четвертом районе Вены. Совсем недалеко находились Принц-Ойгенштрассе, Шварценбергплац, а также Верхний и Нижний Бельведеры. Гарп часто посещал различные музеи и художественные галереи, но Дженни с ним ходить отказывалась; исключение она делала только для Верхнего Бельведера, хотя Гарп предупредил ее, что там она сможет увидеть только полотна XIX–XX веков, но Дженни заявила, что с нее и этого вполне достаточно. Гарп не раз предлагал ей прогуляться по саду до Нижнего Бельведера и посмотреть коллекцию барокко, но Дженни только головой качала; в Стиринг-скул она прослушала несколько курсов по истории искусства и считала себя вполне образованной.

– А Брейгели, мама! – заманивал ее Гарп. – Тебе и нуж-

но-то всего доехать на трамвае до Мариахильферштрассе. Музей истории искусств находится прямо напротив трамвайной остановки.

– До Бельведера я могу и пешком дойти, – возражала Дженни. – Зачем мне куда-то тащиться на трамвае?

Пешком она могла дойти и до Карлскирхе, и до Аргентиниерштрассе, где в весьма интересных с архитектурной точки зрения зданиях располагались посольства. А, например, болгарское посольство было прямо напротив их дома на Швиндгассе. Дженни упрямо твердила, что ей нравятся окрестности их дома, так что лучше она не будет от него отдаляться. Примерно в квартале от них находилась небольшая кофейня, и Дженни заходила туда, чтобы почитать английские газеты. Но ни в кафе, ни в ресторан она в одиночку не ходила; обедать ее водил Гарп (если он не готовил что-нибудь сам). Если же никакой еды дома не было, а Гарп куда-нибудь уходил, Дженни просто сидела голодная. Впрочем, она относилась к этому очень спокойно, полностью поглощенная идеей написать книгу, и, надо сказать, что в их «венский период» эта идея занимала Дженни гораздо больше, чем ее сына, который собирался стать писателем.

– На данном этапе у меня нет ни малейшего желания чувствовать себя здесь туристкой, – говорила она Гарпу. – Но ты, разумеется, не должен оглядываться на меня. Ты сюда приехал именно для того, чтобы повсюду ходить и впитывать культуру.

«В-в-впитывайте, в-в-впитывайте культуру!» – говорил им мистер Тинч. И Дженни казалось, что Гарп именно это и должен делать; сама же она, как ей казалось, уже впитала достаточно, чтобы иметь право высказать и собственное мнение. Дженни Филдз был сорок один год. Ей казалось, что наиболее интересная часть ее жизни уже прожита и теперь пришла пора поведать о ней другим.

Гарп дал матери листочек бумаги и велел повсюду носить его с собой на случай, если она заблудится в незнакомом городе. На листочке был написан их адрес: Швиндгассе, 15–2, Вена IV. С превеликим трудом Гарп заставил мать выучить, как произносится их адрес.

– Швиндгассефюнфценцвай! – выплевывала Дженни.

– Еще раз! – требовал Гарп. – Ты что, хочешь заблудиться?

Сам Гарп день за днем методично исследовал Вену, то и дело обнаруживая такие места, куда можно бы повести Дженни вечером или после обеда, когда она заканчивала свои писательские экзерсисы. Они пили пиво или вино, и Гарп рассказывал, как провел день, а Дженни вежливо слушала. От вина и пива ее обычно клонило в сон. Обычно они съедали на обед что-нибудь вкусное, и затем Гарп доставлял мать домой на трамвае; он особенно гордился тем, что, досконально изучив систему городских трамвайных линий, никогда не пользовался такси. Иногда с утра пораньше он отправлялся на какой-нибудь открытый рынок, потом возвра-

щался домой и до обеда возился на кухне. Впрочем, Дженни никогда не жаловалась, и ей было все равно, дома они едят или в ресторане.

– Это *Gumpoldskirchner*, – говорил, например, Гарп и подробно рассказывал ей об этой марке вина. – Его очень хорошо подавать к *Schweinebraten*, к свиному жаркому.

– Какие смешные слова, – замечала Дженни.

В одном из своих типичных отзывов о стиле Дженниной прозы Гарп позднее писал: «Моя мать выдержала такое сражение с английским языком, что нечего удивляться: немецкий она выучить так и не удосужилась».

Хотя Дженни Филдз каждый день честно по многу часов просиживала за пишущей машинкой, писать она совершенно не умела. Впрочем, писать-то она писала, но терпеть не могла перечитывать написанное. Вскоре она, правда, нашла иной способ самооценки: вспоминала прочитанные некогда произведения, которые ей особенно нравились, и пыталась сравнивать их с собственными литературными опытами. До сих пор Дженни всегда начинала с самого начала: «Я родилась… Мои родители хотели, чтобы я осталась в Уэлсли…» и так далее. А потом сразу переходила к делу: «Я решила, что хочу ребенка, своего собственного, и вскоре мне удалось заполучить его, и вот каким образом…» Однако Дженни прочитала все-таки немало хороших книг и понимала, что ее «интересная история» звучит не так уж интересно и далеко

не так хорошо, как те хорошие и интересные истории, которые она помнила. В чем же дело? – думала она и в очередной раз посылала Гарпа в немногочисленные венские книжные магазины, где продавались книги на английском языке. Ей хотелось повнимательнее присмотреться, как и с чего начинались ее любимые книги; надо сказать, ей удалось весьма быстро «нашлепать» три сотни машинописных страниц, однако она и сама чувствовала, что ее книга *по-настоящему* еще не началась.

Но Дженни переживала свои писательские неудачи молча; с Гарпом она всегда была весела и приветлива, хотя и редко достаточно внимательна. Дженни Филдз всю жизнь прожила с ощущением, что жизнь ее закончилась, не успев начаться. Как и образование Гарпа. Как и ее собственное образование. Как и ее отношения с сержантом Гарпом. От этого она, разумеется, не стала меньше любить сына, но теперь ей казалось, что фаза материнской опеки закончилась; она воспитала сына, теперь он взрослый, и надо позволить ему найти себе занятие по душе, которым бы он действительно увлекся. Не могла же она прожить жизнь за него, записывая на занятия борьбой или чем-либо еще. Но жить рядом с сыном Дженни нравилось; мало того, ей даже в голову не приходило, что когда-нибудь они будут жить отдельно. Правда, она ожидала, что в Вене Гарп будет не только впитывать культуру, но и постоянно развлекаться. И Гарп развлекался как мог.

Он не слишком-то продвинулся со своим рассказом о

дружной семье, разве что нашел для них интересную работу. Отец семейства инспектировал рестораны, гостиницы и пансионы, и семья ездила с ним по всей Австрии. Он определял уровень заведений и присваивал им соответствующую категорию – *A, B* или *C*. Такой работой и сам Гарп занимался бы с удовольствием. В стране вроде Австрии, которая во многом зависит от туризма, очень важно точно знать, как туристы устроены, как они едят и спят, и классификация жилья для них должна быть делом чрезвычайно важным, хотя пока что Гарп толком не мог обосновать, что же особенно важного в этой классификации – и для кого. Ну да, у придуманного им главы семейства работенка была действительно забавная: он мог разоблачать различные злоупотребления, мог по своему усмотрению присваивать категории… а что дальше? Нет, куда легче и приятней было писать длинные письма Хелен!

Весь конец лета и первые месяцы осени Гарп посвятил пешим и трамвайным прогулкам по Вене, но до сих пор никого интересного не встретил. Он писал Хелен: «В какой-то мере взрослость – это ощущение, что вокруг тебя нет никого, кто хотя бы отчасти тебя напоминал, тем самым помогая тебе понять самого себя». Гарп не сомневался, что это ощущение внушила ему «чаровница Вена», потому что «здесь действительно *нет* никого, похожего на меня».

Пожалуй, в этом он не ошибся. В Вене тогда было очень мало ровесников Гарпа. Во-первых, не так уж много венцев родилось в 1943 году. Во-вторых, рождаемость среди корен-

ных венцев с аншлюса и до конца войны, то есть в 1938–1945 годах, была минимальной, хотя немало детишек родились в результате изнасилований. В целом же многие жители Вены вполне сознательно *не хотели* заводить детей вплоть до 1955 года – до конца русской оккупации. В течение семнадцати лет Вена была оккупирована иностранцами, и понятно, что ее жители отнюдь не считали этот период достаточно благоприятным, чтобы иметь детей. Ну а для Гарпа это оказалось весьма поучительно – довольно долго прожить в таком месте, где чувствуешь себя странно одиноким только потому, что тебе восемнадцать лет. Возможно, именно это заставило его быстрее повзрослеть и почувствовать, что «Вена скорее музей, где помещается мертвый город, – как он писал Хелен, – чем город, который полон музеев и все еще жив».

Впрочем, наблюдения Гарпа не носили критического характера. Ему как раз очень нравилось слоняться по городу как по музею. «Более живой и реальный город, возможно, не настолько пришелся бы мне по душе, – писал он позднее. – Вена, находившаяся в своей предсмертной фазе, лежала притихшая и совершенно не мешала мне смотреть на нее, думать о ней и снова смотреть. В *живом* городе я бы никогда не сумел заметить столь многого. Живые города никогда не стоят на месте и вечно меняют свой облик».

Итак, Т. С. Гарп в течение всех оставшихся теплых месяцев только и делал, что писал «заметки» о Вене и письма Хелен Холм, а также вел домашнее хозяйство, обеспечи-

вая нормальную и спокойную жизнь своей матери, которая к давно избранному ею одиночеству прибавила писательское затворничество. «Моя мать, писательница», – шутливо именовал ее Гарп в письмах к Хелен, однако в душе завидовал Дженни: ведь она все-таки что-то упорно писала, а он чувствовал, что безнадежно увяз в своем неначатом рассказе. Он понимал, что первоначально задуманный сюжет можно развивать до бесконечности, подсовывая выдуманным героям одно приключение за другим, но что же с ними случится в итоге? Они попадут в очередной ресторан категории *B*, где десерты готовят настолько плохо, что им никогда в жизни не получить вожделенной категории *A*? Или в очередную гостиницу, которая вот-вот скатится в категорию *C*, потому что в вестибюле там вечно пахнет плесенью? Впрочем, можно бы, скажем, отравить кого-нибудь из членов инспекторской семьи в ресторане класса *A*, но что это будет *значить*? Можно ввести в повествование сумасшедших или даже преступников, которые, например, будут скрываться в одном из пансионов, но как увязать этих преступников с общим замыслом произведения?

Вот тут-то Гарп и понимал, что общего замысла у него нет.

Однажды он увидел, как бродячие цирковые артисты из Венгрии или Югославии выгружаются на вокзальный перрон, и попытался вообразить этих людей внутри своего рассказа. У циркачей был медведь, который кружил на мотоцикле по автостоянке. Собралась небольшая толпа, и между

людьми ходил на руках какой-то человек, собирая в плошку, которую держал ногами, деньги за выступление медведя; иногда он случайно падал, как, впрочем, и медведь на своем мотоцикле.

Наконец мотоцикл заглох окончательно и больше заводиться не пожелал. Гарп так и не узнал, что за номера у остальных двух членов труппы, которые как раз намеревались сменить «на арене» медведя и человека, ходившего на руках, потому что в этот момент появились полицейские и потребовали от циркачей заполнить целую кучу каких-то документов. Зрителям это было совсем неинтересно, и они постепенно разошлись. Гарп задержался дольше остальных, но не потому, что его интересовало продолжение жалкого представления, а потому, что ему хотелось вставить этих циркачей в свой рассказ. Хотя пока что он понятия не имел, как это сделать. Уже уходя с вокзала, он услышал, как взревывает мотоцикл: медведь готовился в очередной раз повторить свой номер.

Единственное, что удалось придумать Гарпу за несколько недель, это название рассказа: «Австрийское туристическое бюро». Название ему не нравилось. Он словно опять отступил назад, став туристом, вместо того чтобы стать писателем.

Но с приходом холодов Гарп окончательно устал от туризма; он начал писать Хелен злые письма, упрекая ее, что она слишком редко и нерегулярно ему отвечает, что, собственно, свидетельствовало скорее о том, что сам он писал ей слиш-

ком часто. Да и занята Хелен была куда больше: она училась в колледже, поступила сразу на второй курс, так что ей пришлось досдавать массу предметов. Если в те ранние годы Хелен и Гарп и были в чем-то похожи, так это в том, что оба словно вечно куда-то спешили и опаздывали. «Оставь бедную Хелен в покое, – советовала Гарпу Дженни. – Вообще-то, я полагала, что ты будешь писать и еще кое-что, кроме писем к ней». Но Гарпу было неприятно работать в одной квартире с матерью, будто соревнуясь, кто больше напишет. Пишущая машинка Дженни почти не умолкала, не давая ей времени подумать, и порой Гарпу казалось, что этот равномерный стук вполне способен положить конец его писательской карьере еще до того, как она успеет начаться. «Моя мать никогда понятия не имела ни о работе в тишине, ни о том, чтобы хоть изредка пересматривать собственные мысли и изречения», – как-то заметил Гарп.

К ноябрю у Дженни на письменном столе лежало шестьсот машинописных страниц рукописи, однако ей по-прежнему казалось, что к работе она еще и не приступала. У Гарпа даже сюжета такого не было, чтобы изложить его на пристойном количестве страниц. И он понял, что воображение пробудить куда труднее, чем воспоминания.

«Прорыв», как он назвал это в одном из писем к Хелен, случился холодным снежным днем в Музее истории Вены. От их дома до этого музея ничего не стоило дойти пешком, но Гарп почему-то до сих пор туда не сходил, считая, что му-

зей совсем близко и можно посетить его в любой свободный день. Дженни не раз говорила ему о Музее истории. Это было одно из немногих мест, которые она посещала самостоятельно и которые находились в пределах пространства, называемого ею «у нас по соседству».

Упоминала она и о том, что там есть специальная комната какого-то писателя, только она забыла, какого именно. Хотя ей казалось, что иметь в музее такую писательскую комнату – затея весьма интересная.

– Это настоящая комната писателя, мам? – спросил Гарп.

– Да, и обставлена его собственной мебелью. А может, они и стены и пол тоже к себе перенесли – не знаю уж, как они умудрились.

– А зачем? – удивился Гарп. – И что делает эта комната в музее?

– По-моему, это была его спальня, – продолжала Дженни. – Но кажется, он и писал там же.

От изумления Гарп округлил глаза. Ему это казалось почти неприличным: неужели там же стоит стакан с зубной щеткой писателя? И его ночной горшок?

Но комната была самая обыкновенная, только кровать выглядела слишком маленькой, словно детской. И письменный стол тоже. Вряд ли это был человек экспансивный, почему-то подумал Гарп. Мебель темного дерева выглядела невероятно хрупкой. Гарп подумал, что у его матери кабинет гораздо лучше. Тот писатель, чья комната была, точно в раку, по-

мещена в Музей истории Вены, носил имя Франц Грильпарцер[7], Гарп о нем никогда не слышал.

Франц Грильпарцер умер в 1872 году; этот австрийский поэт и драматург малоизвестен за пределами Австрии. Он один из тех писателей, которым не удалось пережить свой век и сохранить сколько-нибудь продолжительную популярность у читателей. Впоследствии Гарп будет отстаивать точку зрения, что Грильпарцер и не заслуживал пережить XIX век. Пьесы и стихотворения Гарпа не интересовали вообще, однако он пошел в библиотеку и прочел то, что считалось шедевром среди прочих произведений Грильпарцера: длиннющий рассказ «Бедный музыкант». Возможно, подумал Гарп, моих трех лет изучения немецкого в Стиринг-скул все-таки недостаточно, чтобы по-настоящему оценить этот рассказ (который вызвал у него чуть ли не отвращение), и отыскал в букинистической лавке на Габсбургергассе его английский перевод, но и на английском рассказ ему совершенно не понравился.

Ему казалось, что рассказ этот – просто смехотворная мелодрама, написанная к тому же весьма неумело и страшно сентиментальная. Отчасти, хотя и весьма отдаленно, «Бедный музыкант» напоминал некоторые русские рассказы XIX века, в которых главный герой обычно нерешителен, робок

---

[7] Франц *Грильпарцер* (1791–1872) – австрийский писатель, поэт и драматург, сочетавший в своем творчестве мифологические, исторические и сказочные черты и сюжеты.

и вообще – неудачник во всех отношениях. Однако Достоевский, например, вполне способен был, по мнению Гарпа, увлечь читателя даже подобным слезливым сюжетом. Что же касается Грильпарцера, то он просто раздражал своей слащавой тривиальностью.

В той же букинистической лавке Гарп купил английский перевод «Размышлений» Марка Аврелия; на занятиях латынью в Стиринг-скул их заставляли читать Марка Аврелия, но по-английски Гарп его никогда прежде не читал. А купил он эту книгу потому, что хозяин лавки сказал ему, что Марк Аврелий умер именно в Вене.

«Время человеческой жизни, – писал Марк Аврелий, – миг; ее сущность – вечное течение; ощущение – смутно; строение всего тела – бренно; душа – неустойчива; судьба – загадочна; слава – недостоверна. Одним словом, все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе – сновидению и дыму». И Гарп почему-то подумал, что Марк Аврелий жил не иначе как в Вене, когда писал это.

Мрачные размышления Марка Аврелия были, разумеется, предметом серьезного писательства, думал Гарп. А вот разница между Грильпарцером и Достоевским была отнюдь не в предмете. Она – в уровне ума и доброты, заключил он, в уровне истинного мастерства и артистичности. Отчего-то столь очевидное «открытие» его обрадовало. Годы спустя Гарп прочитал у одного критика в предисловии к произведениям Грильпарцера: «Это был весьма впечатлительный, из-

мученный жизненными невзгодами человек, часто подверженный депрессиям, а порою самый настоящий параноик, вечно раздраженный, вечно всем недовольный, буквально задыхающийся от собственной меланхолии, – короче, очень сложный и вполне современный человек».

«Возможно, все это и справедливо, – писал сам Гарп, – однако Грильпарцер был еще и на редкость плохим писателем».

Убежденность Гарпа в том, что Франц Грильпарцер был «плохим» писателем, как ни странно, дала ему самому впервые какую-то уверенность в собственных силах – он поверил в себя как в писателя, еще ничего толком не написав. Возможно, в жизни каждого писателя необходим такой момент, когда какого-то другого автора клеймят за полную профессиональную непригодность. Инстинкт убийцы, проснувшийся в душе Гарпа по отношению к бедному Грильпарцеру, был тайным и чисто борцовским. Читая отзывы критиков, Гарп как бы наблюдал своего противника во время схватки с другим борцом и старательно отмечал его слабости и просчеты, понимая, что сам может сделать лучше. Он даже заставил Дженни прочесть «Бедного музыканта» – один из редких случаев, когда его интересовало именно ее литературное мнение.

– Чепуха, – вынесла свой приговор Дженни. – Примитив. Слезливо и сентиментально-слащаво. Взбитые сливки.

И оба остались этим приговором несказанно довольны.

– А знаешь, мне и комната его совсем не нравится, – сказала Дженни. – Разве такой должна быть комната настоящего писателя?

– Ну, это-то, по-моему, никакого значения не имеет, мам, – заметил Гарп.

– Не скажи. Вся забитая барахлом, темная… И атмосфера в ней какая-то чересчур нервная.

Гарп заглянул в комнату матери. На постели, на комоде под зеркалом (так что посмотреться в него было совершенно невозможно) – всюду громоздились стопки страниц ее невероятно длинного и путаного манускрипта. В общем, Гарпу показалось, что комната матери тоже не очень-то похожа на комнату настоящего писателя, но вслух он этого не сказал.

Он написал Хелен длиннющее послание, в котором обильно цитировал Марка Аврелия и мордовал несчастного Франца Грильпарцера. По мнению Гарпа, «Франц Грильпарцер умер в 1872 году, и умер навсегда, подобно дешевому местному вину, которое даже вывезти никуда нельзя из Вены, потому что по дороге оно испортится». Письмо напоминало борцовскую разминку мускулов перед состязанием, и Хелен, похоже, это поняла. Гарп даже написал письмо под копирку – настолько оно ему нравилось – и послал Хелен копию, а оригинал оставил себе. «У меня такое ощущение, – написала ему в ответ Хелен, – что я понемногу превращаюсь в библиотеку или, точнее, в папку для твоих черновиков».

Обиделась ли она? Гарп не настолько задумывался о чув-

ствах Хелен, чтобы спрашивать ее об этом. Он просто написал в следующем письме, что «вот-вот будет готов писать». И не сомневался, что результатами Хелен теперь будет довольна. Возможно, подобная самоуверенность у кого-то другого могла вызвать и негативные чувства, но Хелен отнеслась к высказываниям Гарпа спокойно. Она упорно училась, «пожирая» предлагаемые в колледже курсы с утроенной быстротой. Некоторая самовлюбленность и эгоизм будущего писателя Гарпа ничуть не смутили ее: Хелен Холм и сама бежала к поставленной перед собой цели с весьма примечательной скоростью и очень ценила тех, кто исполнен такой же решимости. Кроме того, ей нравились письма Гарпа; она отлично его понимала, сама будучи в значительной степени эгоисткой, да и письма эти оказались на редкость хорошо и интересно написаны, о чем она не уставала ему повторять.

А между тем жившие в Вене Дженни и Гарп по-прежнему развлекались шуточками по адресу несчастного Грильпарцера. Они начали обнаруживать множество мелких признаков того, что покойный писатель жил именно в этом городе: там имелись улица Грильпарцергассе и кофейня его имени, а однажды в кондитерской они с изумлением обнаружили слоеное пирожное, названное в его честь «грильпарцерторте»! Пирожное оказалось чересчур сладким. Они выдумывали всякие дурацкие словечки вроде «грильпарцерированный»; так, предлагая матери яйца на завтрак, Гарп спрашивал, хочет ли она яйца всмятку или «грильпарцерирован-

ные». А как-то раз в зоопарке они долго наблюдали за исключительно долговязой и неуклюжей антилопой, бока которой были покрыты клочьями вылезшей шерсти и засохшими экскрементами; антилопа печально стояла в своем узком и вонючем зимнем загоне, и Гарп тут же дал ей название «гну Грильпарцера».

По поводу своих писательских успехов Дженни однажды заметила, что «занимается чистым грильпарцерством». Она имела в виду, что в тексте у нее появляются персонажи и сцены, «похожие на отвратительный надрывный звонок будильника». Она намекала на сцену в бостонском кинотеатре, когда к ней подсел тот солдат. «В кинотеатре, – писала Дженни Филдз, – ко мне приблизился какой-то солдат, явно охваченный плотским вожделением».

– Но это же просто ужасно, мам! – воскликнул Гарп, прочитав эти слова.

Использование выражений типа «охваченный плотским вожделением» Дженни и сама называла «заниматься грильпарцерством».

– Но ведь именно так и было! – возразила она на этот раз. – Типичное плотское вожделение.

– Ты лучше напиши, что его распирало от похоти, – предложил Гарп.

– Ну, опять «грильпарцерское» выражение, – сказала Дженни.

В общем-то, в жизни именно плотское вожделение и инте-

ресовало ее меньше всего. Они обсудили эту тему достаточно подробно, и Гарп признался в своем «плотском вожделении» к Куши Перси и даже выдал матери вполне пристойное описание сцены соблазнения. Но Дженни от его рассказа в восторг отнюдь не пришла.

– А как же Хелен? – спросила она. – К Хелен ты тоже испытываешь плотское вожделение?

Гарп признался, что испытывает.

– Ужас какой! – воскликнула Дженни.

Плотское вожделение как чувство было ей недоступно, она не понимала, что это такое и каким образом у Гарпа оно ассоциируется с удовольствием, и еще меньше понимала, как вожделение можно ассоциировать с любовью или привязанностью.

– «Все, относящееся к телу, подобно потоку», – неуклюже процитировал Гарп Марка Аврелия.

Мать только головой покачала. Они как раз обедали в ресторане, убранство которого отличалось обилием красных тонов, поблизости от улицы Блутгассе.

– «Кровавая улица»! – радостно перевел матери Гарп.

– Прекрати переводить мне каждое слово! – заявила вдруг Дженни. – Я совсем не желаю знать все.

Ей просто не очень понравилась обстановка в ресторане, еда была слишком дорогой, да и обслуживали их чересчур медленно. Домой они возвращались уже поздним вечером. Было холодно, и игривые огоньки Кернтнерштрассе мало их

согревали.

– Давай возьмем такси, – предложила Дженни.

Но Гарп упрямо твердил, что тут совсем рядом остановка трамвая.

– Черт бы тебя побрал с твоими трамваями! – проворчала Дженни.

В общем, было ясно, что тема «плотского вожделения» окончательно испортила ей вечер.

Первый район Вены сиял рождественскими огнями; между высоченными шпилями собора Святого Стефана и массивным зданием Оперы было по меньшей мере семь кварталов сплошных магазинов, баров и гостиниц. Зимой здесь можно было найти развлечение на любой вкус.

– Мам, давай все-таки как-нибудь вечерком сходим в Оперу, – предложил Гарп.

Они прожили в Вене уже полгода, но в Опере не были ни разу: Дженни не любила слишком поздно ложиться.

– Сходи один, – ответила она и вдруг увидела впереди трех женщин, стоявших в рядок, в длинных меховых шубах; у одной из них была еще муфточка из того же меха, что и шуба, и она прижимала муфту к лицу, дыша в нее, чтобы согреть руки. Эта дама казалась вполне элегантной, хотя наряды ее соседок по панели отдавали рождественской мишурой; Дженни с восторгом уставилась на муфточку. – Вот чего мне хотелось бы! – воскликнула она, указывая на женщину. – Где я могу такую купить? – Гарп не сразу понял, что́ она имеет

в виду.

Он-то прекрасно знал, что эти женщины – проститутки.

А проститутки, увидев столь странную парочку, были весьма озадачены: красивый мальчик и простоватая, но миловидная женщина, которая по возрасту годилась ему в матери. Однако Дженни, шагая по улице, с таким достоинством опиралась на руку Гарпа и в разговоре их чувствовалось такое странное напряжение и даже смущение, что проститутки тут же решили, что эта женщина никак не может быть матерью хорошенького мальчика. А когда Дженни чуть ли не пальцем указала на них, они разозлились, решив, что она тоже проститутка, перехватившая клиента на их территории, да еще совсем мальчишку, да еще явно платежеспособного.

В Вене проституция легализована и находится под весьма сложным контролем. У проституток даже есть нечто вроде профсоюза; каждой из них выдаются медицинские сертификаты и удостоверения личности, а в публичных домах регулярно устраивается врачебный осмотр. На богатые улицы первого района допускались лишь самые шикарные проститутки. Ближе к окраинам «жрицы любви» были и поскромнее, и постарее, и менее красивые. И там они, конечно же, стоили гораздо дешевле. В каждом районе цены на услуги этих женщин были фиксированными. Так что, завидев Дженни, шлюхи дружно выступили ей навстречу и преградили путь. Они быстро определили, что Дженни совершенно не тянет на проститутку из первого района и вообще,

по всей видимости, работает независимо – что является нарушением закона, а может, просто тайком выползла со своей окраины, надеясь подзаработать деньжат. Ну что ж, не деньги она сейчас получит, а неприятности!

Честно говоря, принять Дженни за проститутку было довольно трудно, хотя определить ее род занятий и возраст тоже оказалось затруднительно. Она столько лет носила только медицинский халат, что совершенно не знала, как ей следует одеваться в Вене. И пожалуй, склонялась к излишествам, особенно когда куда-нибудь выходила с Гарпом, возможно вознаграждая себя за тот старый купальный халат, в котором обычно писала. Она не имела почти никакого опыта в покупке одежды, тем более что здесь, в чужом европейском городе, все вещи смотрелись как-то по-другому. Не обладая собственным вкусом, Дженни просто покупала самые дорогие наряды; в конце концов, деньги у нее были, а желания «таскаться по магазинам» не было вовсе. Как и терпения. Вот почему в своих обновках она порой выглядела точно рождественская елка, и, когда шагала рядом с Гарпом, никому в голову не приходило принять их за близких родственников. Сам Гарп почти постоянно носил форму Стиринг-скул: пиджак, галстук, удобные брюки – этакий стандартный набор из магазина готового платья, который делал Гарпа практически неразличимым в толпе любого большого города.

– Ты не мог бы спросить у этой женщины, где она купила муфточку? – пристала к сыну Дженни; и тут именно женщи-

на с муфтой вдруг заступила ей дорогу.

– Это же шлюхи, мам! – прошептал Гарп.

Дженни так и замерла на месте. Женщина с муфтой что-то говорила ей сердитым и резким тоном, но Дженни, разумеется, не понимала ни слова и уставилась на Гарпа, надеясь, что он переведет.

– Моя мать всего лишь хотела спросить у вас, где вы купили такую хорошенькую муфточку, – медленно сказал Гарп по-немецки.

– А, так они иностранцы! – пренебрежительно сказала одна из проституток.

– Господи, это ж его мать! – ужаснулась другая.

Женщина с муфтой продолжала пристально смотреть на Дженни, а та буквально глаз не сводила с ее муфты. Гарп рассматривал проституток. Одна совсем молоденькая, волосы уложены в высокую прическу, усыпанную золотыми и серебряными звездочками; на щеке татуировка – зеленая звезда, а верхнюю губу чуточку подтягивает кверху приметный шрам, отчего казалось, что с лицом у нее что-то не так, но что именно, сразу и не скажешь. Тело у девицы, впрочем, изъянов не имело; она была высокая, гибкая, стройная, и Дженни вдруг обнаружила, что внимательно на нее смотрит.

– Спроси у нее, сколько ей лет, – попросила она Гарпа.

– Мне восемнадцать, – ответила девушка на ломаном английском. – Я хорошо знаю по-английски.

– Моему сыну столько же, – сказала ей Дженни, подтал-

кивая Гарпа локтем.

Она так и не поняла, что они сперва приняли ее за свою товарку. Когда Гарп позднее сказал ей об этом, она пришла в ярость, но злилась только на себя. «Это всё мои платья! – кричала она. – Я совершенно не умею одеваться!» И с этого дня Дженни Филдз забросила свои наряды, вновь облачилась в белый халат сестры милосердия и ходила в нем повсюду, словно пребывала на вечном дежурстве, хотя медсестрой она больше никогда не работала и не хотела работать.

– Можно мне взглянуть на вашу муфточку? – спросила Дженни у женщины в роскошной шубе, полагая, что все эти незнакомки говорят по-английски, однако английский знала только молодая проститутка, и Гарпу пришлось выступить в роли переводчика.

Женщина весьма неохотно сняла муфточку, и из этого теплого гнездышка, где прятались ее красивые руки, унизанные сверкающими перстнями, повеяло ароматом ее духов.

У третьей из шлюх на лбу виднелась оспинка, будто отпечаток персиковой косточки. За исключением этой рябинки да еще рта, который, на вкус Гарпа, был чересчур маленьким и пухлым, точно ротик раскормленного младенца, все остальное в ней вполне соответствовало стандарту – зрелая женщина лет двадцати с небольшим. Возможно, подумал Гарп, у нее весьма пышная грудь, однако под черной меховой шубкой разглядеть ее грудь как следует не смог.

А вот женщина с муфтой, по мнению Гарпа, была просто

красавицей. Нежное продолговатое, немного печальное лицо. И тело, наверное, безупречное, а движения спокойные и неторопливые. Во всяком случае, рот у нее был очень спокойный. Только по затаенной грусти в глазах и по обнаженным рукам Гарп догадался, что ей, по крайней мере, столько же лет, сколько его матери, а может и больше.

– Это подарок, – сказала она Гарпу, указывая на муфту. – Мне подарили ее вместе с шубой. – Мех был очень светлый, серебристый, удивительно мягкий и приятный на ощупь.

– Да уж, вещь настоящая! – заметила молодая шлюха, говорившая по-английски. Она явно восхищалась старшей подругой.

– Да вы почти в любом магазине можете купить что-нибудь подобное, ну, может, не такое дорогое, – посоветовала Гарпу женщина с оспиной на лбу. И она указала в сторону Кернтнерштрассе. – Сходите, например, к Штефлю.

Она говорила на каком-то забавном наречии, которое Гарп понимал с трудом. Дженни даже головы в ее сторону не повернула, а Гарп благодарно кивнул и снова уставился на обнаженные запястья старшей из проституток, на ее тонкие пальцы, унизанные кольцами.

– У меня руки замерзли, – тихонько заметила она Гарпу, и он взял у Дженни муфту и вернул ей.

Но Дженни и не думала уходить.

– Давай поговорим с ней! – не унималась она. – Я хочу расспросить ее о плотском вожделении.

– О чем? – Гарп обомлел. – Мам, да ты что? Господи!

– О том, что мы недавно с тобой обсуждали, – спокойно пояснила Дженни. – Я хочу спросить, что она думает о плотском вожделении.

Проститутки постарше вопросительно посмотрели на ту, что знала английский язык, однако ее английский был не настолько хорош, чтобы сразу понять, о чем говорят эти иностранцы.

– Холодно, мама, – жалобным тоном сказал Гарп. – И поздно уже. Пойдем домой, а?

– Скажи ей, что мы хотели бы пойти в какое-нибудь приличное и теплое место, чтобы просто посидеть и поговорить, – настаивала Дженни. – Она ведь позволит нам заплатить за нее, верно?

– Ну да, наверное, – простонал Гарп. – Но, мам, она ведь абсолютно ничего не знает о плотском вожделении. Они же обычно почти ничего не чувствуют.

– Я хочу узнать о том плотском вожделении, которое испытывают мужчины, – строго сказала ему Дженни. – О твоем, например. Уж о мужском-то вожделении она должна кое-что знать, я полагаю.

– Мама, ради бога! – взмолился Гарп.

– *Was macht's?* В чем дело? – спросила Гарпа молоденькая проститутка. – Она что, хочет купить муфту?

– Нет, нет, – поспешно ответил Гарп. – Она хочет купить одну из вас!

Старшая из проституток просто остолбенела, а та, что с оспиной на лбу, рассмеялась.

– Вы не поняли, мама хочет всего лишь поговорить с одной из вас! – пояснил Гарп.

– Холодно очень, – сообщила молоденькая шлюха, подозрительно на него глядя.

– Но ведь поговорить можно в любом месте, в тепле, где вы сами захотите, – заторопился он.

– Спроси вон у той, сколько она берет, – сказала Дженни, указывая на женщину с муфтой.

– *Wie viel kostet?* – пробормотал Гарп.

– Пятьсот шиллингов, – сказала молоденькая шлюха.

Гарпу пришлось объяснять Дженни, что это примерно двадцать долларов. Даже прожив в Австрии больше года, Дженни так и не выучила немецкие числительные и не различала денежные знаки.

– Двадцать долларов за то, чтобы всего лишь поговорить? – спросила Дженни.

– Нет-нет, мама, – сказал Гарп. – За обычные услуги.

Дженни задумалась: не слишком ли много – за обычные услуги? Но этого она не знала.

– Скажи, что мы дадим ей десять, – предложила Дженни.

Но на лице молодой шлюхи отразилось сомнение, да и на лице старшей тоже, словно разговор мог быть для нее куда труднее, чем «обычная» работа. Сомневалась она не только из-за цены; она не доверяла Гарпу и Дженни. И спросила

свою молодую подругу, говорившую по-английски, англичане это или американцы. Американцы, сказала та, и старшая вздохнула с некоторым облегчением.

– Видите ли, англичане часто бывают извращенцами, – сказала она Гарпу по-немецки. – А американцы обычно нормальные люди.

– Вы поймите, мы просто хотим с вами поговорить, – повторил Гарп, с ужасом понимая, что проститутка явно воображает себе некую оргию, в которой будут участвовать и мать с сыном.

– Хорошо. Двести пятьдесят шиллингов, – наконец согласилась она. – И вы угостите меня кофе.

Она провела их в то местечко, куда обычно заходят погреться проститутки, – в крошечный бар с миниатюрными столиками; все время звонил телефон, но лишь несколько мужчин с мрачным видом из-за вешалки рассматривали женщин и уходили прочь. По негласному правилу к женщинам нельзя было подойти, пока они сидят в этом баре; он служил проституткам чем-то вроде запасного аэродрома, потайного убежища.

– Спроси, сколько ей лет, – велела Дженни Гарпу, но, когда он спросил, женщина мягко опустила ресницы и покачала головой. – Ладно, – сказала Дженни. – Тогда спроси ее, почему, как ей кажется, она нравится мужчинам?

У Гарпа от удивления округлились глаза.

– Но тебе-то ведь она нравится, верно? – спросила его

Дженни; Гарп честно признался, что нравится. – Ну и чего тебе от нее надо? Чего ты от нее хочешь получить больше всего? Я не имею в виду ее гениталии; я хотела бы знать, есть ли в ней что-нибудь еще, что привлекает тебя? Что-нибудь такое, что можно было бы о ней вообразить, некая аура, может быть?

– Слушай, мам, может, ты лучше просто заплатишь мне двести пятьдесят шиллингов и перестанешь задавать ей дурацкие вопросы? – устало предложил Дженни Гарп.

– Не будь идиотом, – сказала Дженни. – Я хочу знать, не унижает ли ее чувство, что ее просто хотят, и необходимость потом отдаваться; или, может, она думает, что этим она унижает только мужчин?

Гарп с огромным трудом попытался все это перевести. Женщина с муфтой, как ни странно, задумалась над этим вопросом; лицо ее было очень серьезным. Может, она меня просто не поняла? – думал Гарп.

– Я не знаю, – наконец коротко ответила она.

– Хорошо. У меня есть и другие вопросы, – сказала Дженни.

Этот кошмар продолжался примерно час. Затем женщина сказала, что ей пора. Дженни не была ни удовлетворена, ни разочарована этим ночным интервью, хотя ей явно недоставало конкретных результатов; она казалась прямо-таки ненасытно любопытной. А Гарп понял, что никого в жизни не хотел так сильно, как эту женщину с муфтой.

– Хочешь ее? – спросила у него Дженни настолько внезапно, что он не смог солгать. – Неужели после всего этого, после всех этих вопросов ты действительно хочешь еще и заняться с ней сексом?

– Конечно, мам, – с несчастным видом признался Гарп.

Вряд ли Дженни понимала теперь, что такое «плотское вожделение», лучше, чем до обеда, потому что выглядела она крайне озадаченной.

– Ну хорошо, – сказала она наконец и вручила ему двести пятьдесят шиллингов, а потом еще пятьсот, сказав лишь: – Делай что хочешь. Вернее, что должен. Но, пожалуйста, сперва отвези меня домой.

Проститутка внимательно следила за передачей денег, глаз у нее был наметанный. Получив точную сумму, она коснулась руки Гарпа холодными, как и ее кольца, пальцами и сказала:

– Послушай, это нормально, что твоя мать хочет купить меня для тебя. Но пойти она с нами не сможет. Этого я ей никогда не позволю. Ни за что на свете! Я все-таки католичка, хочешь верь, хочешь нет, но это так. А если тебе хочется какой-нибудь особенной забавы, то лучше попроси Тину.

Гарп поинтересовался, кто такая Тина, и содрогнулся при мысли, что уж для Тины-то ничто на свете не может показаться слишком забавным.

– Я сейчас отвезу мать домой, – сказал Гарп женщине с муфтой, – но назад к тебе сегодня уже не вернусь.

Она улыбнулась ему, и он почувствовал, что его распирает от желания, от пресловутого «плотского вожделения» – вот-вот лопнут штаны и из карманов посыплются никому не нужные шиллинги. Зубы у женщины были просто идеальные, и только на одном, на верхнем резце, красовалась золотая коронка.

В такси (Гарп все-таки согласился поехать домой в такси!) он изложил матери венскую систему проституции. Дженни ничуть не удивилась, что проституция здесь узаконена; ее удивило, что во многих странах проституция находится вне закона.

– Разве она не должна быть законной? – вопрошала она. – Разве не может женщина использовать собственное тело так, как хочет? А если кто-то желает ей заплатить, то это просто нормальная маленькая сделка. Разве двадцать долларов так уж много?

– Нет, цена вполне приемлемая, – сказал Гарп со знанием дела. – По-моему, даже довольно низкая для таких хорошеньких женщин.

Дженни влепила ему пощечину:

– Что-то больно много ты обо всем этом знаешь!

Однако она тут же извинилась и сказала, что ей очень стыдно; ведь она никогда прежде его не била, а сейчас ну просто совершенно не в силах понять, что это за гребаное плотское вожделение такое!

Дома, на Швиндгассе, Гарп твердо решил никуда больше

не ездить; он уже спал, а Дженни все мерила шагами свою заваленную машинописными страницами комнату и никак не могла сформулировать мысль, что так и просилась наружу, так и кипела в ее мозгу.

А Гарпу снились другие проститутки. В Вене он уже имел дело с двумя или тремя, но никогда еще не платил им по первому разряду. На следующий день после раннего ужина он оставил мать за работой и отправился к той женщине с норковой муфточкой.

Ее «рабочее» имя было Шарлотта. Она не удивилась, увидев его. Она не первый день жила на свете и сразу чуяла, когда клиент клюнул, хотя так и не сказала Гарпу, сколько ей лет. Шарлотта явно тщательнейшим образом ухаживала за собой, и лишь когда она была совершенно голой, ее истинный возраст выдавали не только чересчур выпуклые, но местами и узловатые вены на тонких и длинных запястьях. На животе и грудях виднелись тонкие белые следы растяжек – следы беременности, – но она сказала Гарпу, что ребенок ее давно умер. Она не возражала, когда он касался шрама от кесарева сечения у нее на животе.

После того как Гарп четыре раза встречался с Шарлоттой по фиксированной цене первого района, он как-то случайно налетел на нее на рынке Нашмаркт утром в субботу. Она покупала фрукты. Видимо, она еще не успела вымыть голову и повязала ее платочком; из-под платочка торчала челка и две косички, как у молоденькой девчонки. Челка прикрыва-

ла бледноватый при дневном свете лоб. И ни следа косметики; на Шарлотте были американские джинсы, теннисные туфли и длинный толстый свитер с высоким воротом. Гарп, пожалуй, и не узнал бы ее, если бы не руки, которыми она выбирала фрукты: все ее кольца оставались на ней.

Сперва она даже не ответила, когда он поздоровался и заговорил с ней, однако, как только улеглось первое раздражение от встречи с клиентом в нерабочее время, смягчилась. Гарп и раньше рассказывал ей, что всегда сам ходит за покупками и готовит еду для себя и для матери, и она находила это очень милым. Гарп вообще долгое время не задумывался над тем, что ему примерно столько же лет, сколько было бы сыну Шарлотты, останься он жив. Шарлотта как-то по-другому, чем всем остальным, интересовалась его жизнью вдвоем с матерью.

– Как у твоей матери продвигается работа? – обычно спрашивала она.

– Тарахтит на машинке без передыху! – отвечал Гарп. – По-моему, до сих пор так и не разрешила проблему «плотского вожделения».

Но Шарлотта не очень-то позволяла Гарпу подшучивать над матерью.

И Гарп тоже не чувствовал себя с нею уверенно; например, он никогда не рассказывал ей, что тоже пробует писать. Знал, что она сочтет его слишком молодым для этого. Да и сам порой так считал. Тем более что рассказ был по-прежне-

му не готов и рассказывать-то было особенно не о чем. Хотя кое-что он сделал – придумал рассказу новое название: «Пансион „Грильпарцер“», и это название ему действительно очень нравилось и помогало собираться с мыслями. Теперь он уже представлял себе место, где должно было случиться почти все самое важное. И можно было сосредоточенно думать о героях рассказа – о семье инспектора ресторанов и гостиниц, об обитателях маленького и очень унылого пансиона (этот пансион непременно должен быть маленьким и унылым, находиться в Вене и носить имя Франца Грильпарцера). А обитателями пансиона должны были стать цирковые артисты – нечто вроде маленькой труппы средней руки, – которым больше негде жить.

В системе инспекторских категорий здешний мирок определенно угодил в категорию *С*. Размышляя об этом, Гарп – медленно, с трудом – все же заставил себя начать и продвигаться в нужном направлении. Он чувствовал, что направление выбрано *правильно*, но ощущение это оказалось слишком новым, чтобы он сразу решился начать писать или хотя бы записывать разрозненные мысли. Он понимал, что чем чаще шлет письма Хелен, тем меньше пишет в другом, гораздо более важном смысле. Обсуждать проблемы своего творчества с матерью он не мог: по части воображения она не была сильна. А обсуждать эти дела с Шарлоттой и вовсе глупо.

Теперь Гарп часто встречался с нею по субботам на Нашмаркте. Сделав покупки, они иногда завтракали вместе в

сербском ресторанчике рядом с городским парком. В таких случаях Шарлотта всегда платила за себя сама. Во время одного из таких завтраков Гарп признался ей, что ему сложно платить ей по таксе первого района, скрывая от матери, куда он тратит так много денег. Шарлотта рассердилась, потому что он опять заговорил о «делах» в «нерабочее» время. Но Гарп знал, что она рассердилась бы куда сильнее, скажи он, что ходит к ней так редко потому, что цены у проституток шестого района, с перекрестка улиц Карл-Швайгхофергассе и Мариахильфер, куда он иногда наведывался, настолько ниже, что ему ничего не стоит скрыть такие траты от матери.

Шарлотта была весьма невысокого мнения о проститутках, которые работали за пределами первого района. Как-то она даже сказала Гарпу, что сразу уйдет на пенсию, как только почувствует, что клиентура первого района от нее ускользает. Во всяком случае, в других районах она работать не собиралась ни за что. Шарлотте удалось скопить довольно крупную сумму денег, так что, завершив свою нынешнюю «карьеру», она собиралась переехать в Мюнхен (где никто не знает, что она шлюха) и выйти замуж за молодого врача, который бы заботился о ней во всех отношениях, пока она не умрет. Ей не нужно было объяснять Гарпу, что она всегда привлекала молодых мужчин, но признание, что она хотела бы выйти замуж именно за врача, оказалось для него неожиданно неприятным. Впоследствии он часто населял свои романы и рассказы различными непривлекательными персона-

жами медицинской профессии, хотя ему даже в голову не приходило, сколь сильно на него повлияли откровения Шарлотты. Правда, в «Пансионе „Грильпарцер“» никакого врача нет. В самом начале там есть кое-какие рассуждения о смерти, и эта тема в итоге становится главной в рассказе. Но сперва у Гарпа был только *сон о смерти*, и он отдал этот сон самому старому персонажу в рассказе – бабушке. Гарп догадывался, что именно бабушке и суждено умереть первой.

ПАНСИОН «ГРИЛЬПАРЦЕР»

Мой отец работал в Австрийском туристическом бюро. Идея устроить семейное путешествие, когда отец отправится тайно инспектировать разные гостиницы, пансионы и рестораны, принадлежала моей матери. Мать и мы с братом должны были повсюду сопровождать отца и сообщать ему о любых недостатках – проявлениях грубости, плохо убранных помещениях, невкусной еде. Он велел нам создавать персоналу инспектируемых заведений всевозможные трудности: например, никогда не заказывать в точности то, что указано в меню, всячески подражая иностранцам с их причудами и странными просьбами, сообщать точное время, когда мы хотели бы принять ванну, без конца требовать принести в номер аспирин или спрашивать, как добраться до зоопарка. Нам было велено вести себя в высшей степени благовоспитанно, но капризно;

а когда визит в тот или иной отель либо ресторан заканчивался, мы скрупулезно отчитывались перед отцом, уже сидя в машине.

К примеру, мать говорила: парикмахерская по утрам вечно закрыта, однако администратор дает вполне приличные рекомендации насчет ближайших парикмахерских. Мне кажется, говорила мать, это нормально, если, конечно, они не заявляют, что в гостинице есть собственные мастера.

– Видишь ли, они как раз и заявляют, что мастера у них есть, – отвечал отец и что-то записывал в огромную тетрадь.

Я всегда играл роль шофера. И сообщал отцу, что, хотя машина стояла на гостиничной стоянке, а не на улице, с тех пор как мы вручили ключи от нее швейцару, на счетчике появилось лишних четырнадцать километров.

– А вот об этом следует доложить непосредственно управляющему гостиницей, – сурово говорил отец.

– В туалете мокро и вода все время течет, – добавлял я.

– Я даже дверь туда открыть не мог, – подхватывал мой братишка Робо.

– У тебя, Робо, вечно неприятности с дверями, – говорила мать.

– Но это же, наверное, категория С? – снисходительно говорил я.

– Боюсь, что нет, – отвечал отец. – В списке гостиница проходит по категории В.

На некоторое время воцарялось скорбное молчание; самый суровый приговор заключался в понижении классности гостиницы или пансиона. И мы к этому относились с полной серьезностью.

– Я думаю, стоит написать управляющему, – предлагала мать. – Письмо не слишком приятное, но и без излишних грубостей. Простая констатация фактов, и все.

– Мне он, пожалуй, даже понравился, – говорил отец. Он всегда считал необходимым встретиться с управляющим гостиницей и основным персоналом.

– Не забудь, они ездили по своим делишкам на нашей машине! – вставлял я. – Это же просто безобразие!

– И яйца были тухлые, – заявлял Робо; но ему еще не было десяти, так что его суждения особо в расчет не принимались.

Мы стали еще более жесткими оценщиками, когда умер мой дед и нам в наследство досталась бабушка, мамина мать, которая с тех пор всегда сопровождала нас в путешествиях. Бабушка Йоханна, еще не утратившая своей царственной осанки, привыкла к путешествиям категории А, но мой отец чаще всего инспектировал как раз заведения класса В или С. Именно такие недорогие гостиницы и пансионы и предпочитали туристы. С ресторанами было, правда, получше: люди, которые не могли себе позволить останавливаться в дорогих гостиницах, все-таки старались есть в местах достойных.

– Я не допущу, чтобы на мне пробовали

сомнительную пищу, – заявила как-то раз Йоханна и повернулась к нам с братом. – Я понимаю, вы в восторге от этих поездок, для вас это просто продолжение веселых каникул, но мне слишком дорого обходится беспокойство, которое я испытываю при мысли о том, где придется провести следующую ночь. Американцы, возможно, находят очень милым и забавным, что в наших гостиницах до сих пор есть номера без ванной и туалета, но меня, старуху, отнюдь не приводит в восторг прогулка по коридору в поисках места, где можно умыться и опорожнить кишечник. Да что там беспокойство! Вполне возможны ведь и реальные инфекции – и не только в недоброкачественной пище. Если постель вызывает у меня сомнения, клянусь, я в нее не лягу! А юные души так впечатлительны! Вы, родители, должны серьезно подумать о том, какое влияние оказывает на них гостиничная публика. – Отец и мать согласно кивали, но молчали, и бабушка набрасывалась на меня: – А ты что, не можешь ехать помедленней? Умерь-ка свой пыл, любитель острых ощущений! – (Я сбавлял скорость.) – Ах, Вена!.. – мечтательно продолжала бабушка Йоханна. – В Вене я всегда останавливалась в «Амбассадоре»…

– Йоханна, дорогая, но «Амбассадор» инспекторы тайком не посещают, – сказал отец.

– Еще бы! – презрительно фыркнула Йоханна. – Но мне думается, даже и обыкновенная гостиница класса А нам не светит?

– Да, чаще всего мы останавливаемся в туристских

гостиницах класса В, – признался отец.

– Но мне показалось, в твоем списке была указана одна гостиница категории А?

– Нет, – сказал отец. – Там одна гостиница категории С.

– Это хорошо! – вмешался Робо. – В таких гостиницах весело, там драки бывают!

– Вот-вот, я так и думала, – поджала губы Йоханна.

– Это не гостиница, а пансион. Очень маленький. – Отец говорил таким тоном, словно размер пансиона мог служить оправданием.

– И его хозяева, разумеется, претендуют на категорию В? – спросила мать.

– Но на них поступило несколько жалоб, – подхватил я.

– Я в этом не сомневаюсь, – мрачно буркнула Йоханна.

– И еще там были животные… – снова высунулся было я, но мать остановила меня взглядом.

– Животные? – Йоханна застыла от ужаса.

– Ну да, животные, – подтвердил я.

– Подозрение на то, что там могли быть животные, – поправила меня мать.

– Да-да, именно так, – сказал и отец.

– Прекрасно! – Бабушка просто взбеленилась. – Животные в гостинице! Это что значит, а? Клочья шерсти на коврах? Отвратительные экскременты по углам? Разве вам неизвестно, что у меня тут же начинается приступ астмы, стоит мне заглянуть в

комнату, где была кошка?

– Та жалоба касалась вовсе не кошек… – начал было я, но мать сильно ударила меня локтем в бок.

– Значит, собак? Бешеных псов, которые способны укусить человека, когда он идет в ванную!

– Нет, – попытался я загладить свою вину. – И не собак.

– Это были медведи! – радостно завопил Робо.

– Ну, насчет медведей, Робо, ты преувеличиваешь, – сказала мама. – Да и вообще мы ничего наверняка не знаем.

– Нет, это совершенно несерьезно! Разве можно жить в таком месте? – воскликнула Йоханна.

– Ну конечно же нет! Мальчишки просто всякую ерунду болтают, – попытался успокоить ее отец. – Откуда в пансионе могут быть медведи?

– Нет, я помню, там было одно письмо, в котором говорилось про медведей, – запротестовал я. – Туристическое бюро еще решило, что это жалоба какого-то сумасшедшего. А потом пришло второе письмо, и в нем подтверждалось, что в пансионе есть медведь…

Отец в зеркальце заднего вида хмуро посмотрел на меня, но я решил, что раз уж мы взялись за подобное расследование, то разумнее держать бабушку в курсе.

– А может, это и не настоящий медведь? – с явным разочарованием протянул Робо.

– А кто же? Человек в медвежьей шкуре? Оборотень? – вскричала Йоханна. – Или какой-то

извращенец? Человек, переодетый чудовищем, или чудовище в человечьем обличье снует поблизости, а я знать не знаю, что ему надо! Нет, я бы хотела в первую очередь посетить именно этот пансион! Пусть это будет первое и последнее наше испытание категорией С и пусть оно как можно скорее останется позади!

– Но на сегодня у нас даже номера там не заказаны, – возразила мама.

– Зато мы можем предоставить им возможность, что называется, расстараться, – сказал отец. Он никогда не говорил своим жертвам, что работает в Австрийском туристическом бюро. Но все же считал, что заказать номера заранее – наиболее приличный способ дать обслуживающему персоналу шанс получше подготовиться к приему постояльцев.

– Я уверена, что совершенно незачем заранее бронировать номера в таком месте, где люди переодеваются в шкуры диких зверей! – твердо заявила Йоханна. – И я совершенно не сомневаюсь, что там всегда есть свободные номера. Потому что человек вполне способен умереть прямо в своей постели от испуга, если ночью к нему в номер заявится какой-то безумец в вонючей медвежьей шкуре.

– А может, и настоящий медведь! – с надеждой подхватил Робо, чувствуя, что настоящий медведь в теперешней ситуации был бы для бабушки, пожалуй, даже предпочтительнее. По-моему, сам Робо настоящего медведя абсолютно не боялся.

Я как можно незаметнее подогнал машину к темному

перекрестку Планкен– и Зайлергассе. Перед нами был темный маленький домишко – пансион категории С, претендовавший на категорию В.

– Парковаться негде, – сообщил я отцу, который уже заносил этот недостаток в свой кондуит.

Я с трудом припарковался у тротуара кому-то в хвост, и мы продолжали сидеть в машине и смотреть на пансион «Грильпарцер»; в нем было всего четыре невысоких этажа, и он был зажат между булочной-кондитерской и табачной лавкой.

– Видите? – сказал отец. – Никаких медведей.

– Никаких таких людей, я надеюсь, – заметила бабушка.

– А может, они ночью приходят? – осторожно предположил Робо, поглядывая по сторонам.

Потом мы все-таки вылезли из машины, вошли в пансион, и там нас встретил менеджер, некий господин Теобальд, увидев которого Йоханна мгновенно насторожилась.

– О, целых три поколения путешествуют вместе! – восторженно вскричал господин Теобальд. – Совсем как в добрые старые времена! – Это он прибавил специально для бабушки. – Когда еще не было такого количества разводов, а молодые супружеские пары не требовали себе отдельных спален. Должен сказать, у нас настоящий семейный пансион. Жаль только, вы не заказали номера заранее, чтобы я мог разместить вас поудобнее и поближе друг к другу.

– Мы не привыкли спать в одной комнате, знаете

ли! – отрезала бабушка.

– О, я совсем не это имел в виду! – поспешил успокоить ее Теобальд. – Я всего лишь хотел сказать, что ваши номера будут расположены не так близко друг к другу, как вам, возможно, хотелось бы.

Это явно встревожило бабушку.

– И как далеко они будут друг от друга? – спросила она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.